



МАРК

БЛОК

АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Марк Блок

Апология истории

«Издательство АСТ»

1941

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)

Блок М.

Апология истории / М. Блок — «Издательство АСТ»,
1941 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-120622-2

Марк Блок (1886–1944) – французский историк, автор трудов по средневековой Франции и общим проблемам методологии истории, основатель собственной исторической школы. Участник французского Сопротивления, расстрелян гестапо в 1944 году. Эта книга родилась из вопроса, заданного ребенком: «Папа, объясни мне, зачем нужна история?» И действительно, зачем? Для чего эти мертвые знания о том, что было раньше? Какое нам до этого дело? Книга Марка Блока «Апология истории» – ответ на эти вопросы и обоснование права историка заниматься своим ремеслом, чтобы знание прошлого помогало человеку «жить лучше».

УДК 82(1-87)

ББК 84(4Фра)

ISBN 978-5-17-120622-2

© Блок М., 1941

© Издательство АСТ, 1941

Содержание

Люсьену Февру	6
Введение	7
Глава первая	14
1. Выбор историка	14
2. История и люди	16
3. Историческое время	18
4. Идол истоков	19
5. Границы современного и несовременного	22
6. Понять настоящее с помощью прошлого	24
7. Понять прошлое с помощью настоящего	26
Глава вторая	28
1. Главные черты исторического наблюдения	28
2. Свидетельства	33
3. Передача свидетельств	37
Глава третья	41
1. Очерк истории критического метода	41
2. Разоблачение лжи и ошибок	46
3. Очерк логики критического метода	54
Глава четвертая	65
1. Судить или понимать?	65
2. От разнообразия человеческих фактов к единству сознания	68
3. Терминология	73
Глава пятая	85
От редакции	88

Марк Блок

Апология истории

Памяти моей матери-друга

Люсьену Февру Вместо посвящения

Если эта книга когда-нибудь выйдет в свет, если она из простого противоядия, в котором я среди ужасных страданий и тревог, личных и общественных, пытаюсь найти немного душевного спокойствия, превратится когда-нибудь в настоящую книгу, книгу для читателей, – на ее титульном листе, мой дорогой друг, будет стоять другое, не Ваше имя. Вы поймете, что это имя будет на своем месте – единственное упоминание, которое может позволить себе нежность, настолько глубокая и священная, что ее словами не высказать. Но могу ли я примириться с тем, чтобы Ваше имя появлялось здесь только случайно, в каких-то ссылках? Долгое время мы вместе боролись за то, чтобы история была более широкой и гуманной. Теперь, когда я это пишу, общее наше дело подвергается многим опасностям. Не по нашей вине. Мы – временно побежденные несправедливой судьбой. Все же, я уверен, настанет день, когда наше сотрудничество сможет полностью возобновиться, как в прошлом, открыто и, как в прошлом, свободно. А пока я со своей стороны буду продолжать его на этих страницах, где все полно Вами. Я постараюсь сохранить присущий ему строй – в глубине согласие, оживляемое на поверхности поучительной игрой наших дружеских споров. Среди идей, которые я намерен отстаивать, не одна идет прямо от Вас. О многих других я и сам, по совести, не знаю, Ваши они, или мои, или же принадлежат нам обоим. Надеюсь, что многое Вы одобрите. Порой, возможно, будете читать с удовольствием. И все это свяжет нас еще крепче.

Фужер (Деп. Крез). 10 мая 1941.

Введение

«Папа, объясни мне, зачем нужна история». Так однажды спросил у отца-историка мальчик, весьма мне близкий. Я был бы рад сказать, что эта книга – мой ответ. По-моему, нет лучшей похвалы для писателя, чем признание, что он умеет говорить одинаково с учеными и со школьниками. Однако такая высокая простота – привилегия немногих избранных. И все же этот вопрос ребенка, чью любознательность я, возможно, не сумел полностью удовлетворить, я охотно поставлю здесь вместо эпиграфа. Кое-кто наверняка сочтет такую формулировку наивной. Мне же, напротив, она кажется совершенно уместной^{1*2}. Проблема, которая в ней поставлена с озадачивающей прямоотой детского возраста, это ни мало ни много – проблема целесообразности, оправданности исторической науки.

Итак, от историка требуют отчета. Он пойдет на это не без внутреннего трепета: какой ремесленник, состарившийся за своим ремеслом, не спрашивал себя с замиранием сердца, разумно ли он употребил свою жизнь? Однако речь идет о чем-то куда более важном, чем мелкие сомнения цеховой морали. Эта проблема затрагивает всю нашу западную цивилизацию.

Ибо, в отличие от других, наша цивилизация всегда многого ждала от своей памяти. Этому способствовало все – и наследие христианское, и наследие античное. Греки и латиняне, наши первые учителя, были народами-историографами. Христианство – религия историков. Другие религиозные системы основывали свои верования и ритуалы на мифологии, почти неподвластной человеческому времени. У христиан священными книгами являются книги исторические, а их литургии отмечают – наряду с эпизодами земной жизни бога – события из истории церкви и святых. Христианство исторично еще и в другом смысле, быть может, более глубоко: судьба человечества – от грехопадения до Страшного суда – предстает в сознании христианства как некое долгое странствие, в котором судьба каждого человека, каждое индивидуальное «паломничество» является в свою очередь отражением; центральная ось всякого христианского размышления, великая драма греха и искупления, разворачивается во времени, т. е. в истории. Наше искусство, наши литературные памятники полны отзвуков прошлого; с уст наших деятелей не сходят поучительные примеры из истории, действительные или мнимые. Наверное, здесь следовало бы выделить различные оттенки в групповой психологии. Курно давно отметил: французы, всегда склонные воссоздавать картину мира по схемам разума, в большинстве предаются своим коллективным воспоминаниям гораздо менее интенсивно, чем, например, немцы³. Несомненно также, что цивилизации меняют свой облик. В принципе не исключено, что когда-нибудь наша цивилизация отвернется от истории. Историкам стоило бы

¹ Звездочкой отмечены места, комментарии к которым написаны самим М. Блоком.

² В этом отношении с самого начала, и отнюдь к этому не стремясь, я противоречу «Введению в изучение истории» Ланглуа и Сеньобоса. Первые фразы начального абзаца были уже давно написаны, когда на глаза мне попался в «Предуведомлении» этой книги (стр. XII) список «праздных вопросов». И вдруг я там вижу буквально такой же вопрос: «Зачем нужна история?» Несомненно, с этой проблемой дело обстоит так же, как почти со всеми проблемами, касающимися причин наших поступков и наших мыслей: люди, по натуре своей к ним безразличные – или сознательно решившие стать таковыми, – всегда с трудом понимают, что другие находят в этих проблемах предмет для волнующих размышлений. Но раз уж подвернулся случай, я думаю, есть смысл тут же определить мою позицию по отношению к этой заслуженно известной книге, которую моя книга, построенная по другому плану и в отдельных своих частях гораздо менее развернутая, никак не претендует заменить. Я был учеником этих двух авторов, в особенности Сеньобоса. Оба они выказывали мне расположение. Мое раннее образование многим обязано их лекциям и произведениям. Но оба они учили нас не только тому, что первый долг историка – быть искренним; они также не скрывали, что прогресс в нашей науке достигается неизбежным противоречием между поколениями ученых. Итак, я останусь верен их урокам, свободно критикуя их там, где сочту полезным; надеюсь, когда-нибудь мои ученики в свою очередь будут так же критиковать меня.

³ Француз – антиисторичен: Курно. Воспоминания, стр. 43, по поводу отсутствия каких бы то ни было роялистских чувств к концу Империи: «...Для объяснения этого странного факта, надо, полагаю, принять во внимание малую популярность нашей истории и слабое развитие у нас в низших классах – по причинам, анализировать которые было бы слишком долго, – чувства исторической традиции».

над этим подумать. Дурно истолкованная история, если не остеречься, может в конце концов возбудить недоверие и к истории, лучше понятой. Но если нам суждено до этого дойти, это совершится ценою глубокого разрыва с нашими самыми устойчивыми интеллектуальными традициями.

В настоящее время мы в этом смысле находимся пока лишь на стадии «экзамена совести». Всякий раз, когда наши сложившиеся общества, переживая непрерывный кризис роста, начинают сомневаться в себе, они спрашивают себя, правы ли они были, вопрошая прошлое, и правильно ли они его вопрошали. Почитайте то, что писалось перед войной, то, что, возможно, пишется еще и теперь: среди смутных тревог настоящего вы непременно услышите голос этой тревоги, примешивающийся к остальным голосам. В разгаре драмы я совершенно случайно услышал его эхо. Это было в июне 1940 г., в день – я это хорошо помню – вступления немцев в Париж. В нормандском саду, где наш штаб, лишенный войск, томился в праздности, мы перебирали причины катастрофы: «Надо ли думать, что история нас обманула?» – пробормотал кто-то. Так тревога взрослого, звуча, правда, более горько, смыкалась с простым любопытством подростка. Надо ответить и тому, и другому.

Впрочем, надо еще установить, что означает слово «нужна». Но прежде, чем перейти к анализу, я должен попросить извинения у читателей. Условия моей нынешней жизни, невозможность пользоваться ни одной из больших библиотек, пропажа собственных книг вынуждают меня во многом полагаться на мои заметки и знания. Дополнительное чтение, всякие уточнения, требуемые правилами моей профессии, практику которой я намерен описать, слишком часто для меня недоступны. Удастся ли мне когда-нибудь восполнить эти пробелы? Боюсь, что полностью не удастся никогда. Я могу лишь просить снисхождения. Я сказал бы, что прошу «учесть обстоятельства», если бы это не означало, что я с излишней самоуверенностью возлагаю на себя вину за судьбу.

* * *

В самом деле, если даже считать, что история ни на что иное не пригодна, следовало бы все же сказать в ее защиту, что она увлекательна. Или, точнее, – ибо всякий ищет себе развлечения, где ему вздумается, – что она, несомненно, кажется увлекательной большому числу людей. Для меня лично, насколько я себя помню, она всегда была чрезвычайно увлекательна. Как для всех историков, я полагаю. Иначе чего ради они выбрали бы эту профессию? Для всякого человека, если он не круглый дурак, все науки интересны. Но каждый ученый находит только одну науку, заниматься которой ему приятней всего. Обнаружить ее, дабы посвятить себя ей, это и есть то, что называют призванием.

Неоспоримая прелесть истории достойна сама по себе привлечь наше внимание.

Роль этой привлекательности – вначале как зародыша, затем как стимула – была и остается основной. Жажде знаний предшествует простое наслаждение; научному труду с полным сознанием своих целей – ведущий к нему инстинкт; эволюция нашего интеллекта изобилует переходами такого рода. Даже в физике первые шаги во многом были обусловлены старинными «кабинетами редкостей». Мы также знаем, что маленькие радости коллекционирования древностей оказались занятием, которое постепенно перешло в нечто гораздо более серьезное. Таково происхождение археологии и, ближе к нашему времени, фольклористики. Читатели Александра Дюма – это, быть может, будущие историки, которым не хватает только тренировки, приучающей получать удовольствие более чистое и, на мой взгляд, более острое: удовольствие от подлинности.

С другой стороны, это очарование отнюдь не меркнет, когда принимаешься за методическое исследование со всеми необходимыми строгостями; тогда, напротив, – все настоящие историки могут это подтвердить – наслаждение становится еще более живым и полным; здесь

нет ровным счетом ничего, что не заслуживало бы напряженнейшей умственной работы. Истории, однако, присущи ее собственные эстетические радости, не похожие на радости никакой иной науки. Зрелище человеческой деятельности, составляющей ее особый предмет, более всякого другого способно покорять человеческое воображение. Особенно тогда, когда удаленность во времени и пространстве окрашивает эту деятельность в необычные тона. Сам великий Лейбниц признался в этом: когда от абстрактных спекуляций в области математики или теодицеи он переходил к расшифровке старинных грамот или старинных хроник имперской Германии, он испытывал, совсем как мы, это «наслаждение от познания удивительных вещей». Не будем же отнимать у нашей науки ее долю поэзии. Остережемся в особенности, что я наблюдал кое у кого, стыдиться этого. Глупо думать, что если история оказывает такое мощное воздействие на наши чувства, она поэтому менее способна удовлетворять наш ум.

И все же если бы история, к которой нас влечет эта ощущаемая почти всеми прелесть, оправдывалась только ею, если бы она была в целом лишь приятным времяпрепровождением, вроде бриджа или рыбной ловли, стоила ли бы она того труда, который мы затрачиваем, чтобы ее писать? Я имею в виду писать честно, правдиво, раскрывая, насколько возможно, неявные мотивы, – следовательно, с затратой немалых усилий. Игры, писал Андре Жид, ныне для нас уже непозволительны, кроме, добавил он, игры ума. Это было сказано в 1938 г. В 1942 г., когда пишу я, каким дополнительным тягостным смыслом наполняется эта фраза! Что говорить, в мире, который недавно проник в строение атома и только начинает прощупывать тайну звездных пространств, в нашем бедном мире, который по праву гордится своей наукой, но не в состоянии сделать себя хоть немножко счастливым, бесконечные детали исторической эрудиции, способные поглотить целую жизнь, следовало бы осудить как нелепое, почти преступное расточительство сил, если бы в результате мы всего лишь приукрашивали крохами истины одно из наших развлечений. Либо надо рекомендовать не заниматься историей людям, чьи умственные способности могут быть с большей пользой применены в другой области, либо пусть история докажет свою научную состоятельность.

Но тут возникает новый вопрос: что же, собственно, является оправданием умственных усилий?

Надеюсь, в наши дни никто не решится утверждать вместе с самыми строгими позитивистами, что ценность исследования – в любом предмете и ради любого предмета – измеряется тем, насколько оно может быть практически использовано. Опыт научил нас, что тут нельзя решать заранее – самые абстрактные на первый взгляд умственные спекуляции могут в один прекрасный день оказаться удивительно полезными для практики. Но, кроме того, отказывать человечеству в праве искать, без всякой заботы о благоденствии, утоления интеллектуального голода – означало бы нелепым образом изувечить человеческий дух. Пусть *homo faber*⁴ или *politicus*⁵ всегда будут безразличны к истории, в ее защиту достаточно сказать, что она признается необходимой для полного развития *homo sapiens*⁶. Но даже при таком ограничении вопрос еще полностью не разрешен.

Ибо наш ум по природе своей гораздо меньше стремится узнать, чем понять. Отсюда следует, что подлинными науками он признает лишь те, которым удастся установить между явлениями логические связи. Все прочее, по выражению Мальбранша, – это только «всезнайство» («полиматия»). Но всезнайство может, самое большее, быть родом развлечения или же манией; в наши дни, как и во времена Мальбранша, его не признают достойным для ума занятием. А значит, история, независимо от ее практической полезности, вправе тогда требовать себе место среди наук, достойных умственного усилия, – лишь в той мере, в какой она сулит

⁴ человек-мастер (лат.).

⁵ человек политический (лат.).

⁶ человек разумный (лат.).

нам вместо простого перечисления, бессвязного и почти безграничного, явлений и событий, дать их некую разумную классификацию и сделать более понятными.

Нельзя, однако, отрицать, что любая наука всегда будет казаться нам неполноценной, если она рано или поздно не поможет нам жить лучше. Как же не испытывать этого чувства с особой силой в отношении истории, чье назначение, казалось бы, тем паче состоит в том, чтобы работать на пользу человеку, раз ее предмет – это человек и его действия? В самом деле, извечная склонность, подобная инстинкту, заставляет нас требовать от истории, чтобы она служила руководством для наших действий, а потом мы негодуем, подобно тому солдату побежденной армии, чьи слова я привел выше, если история, как нам кажется, обнаруживает свою несостоятельность, не может дать нам указаний. Проблему пользы истории – в узком, прагматическом смысле слова «полезный» – не надо смешивать с проблемой ее чисто интеллектуальной оправданности. Ведь проблема пользы может тут возникнуть только во вторую очередь: чтобы поступать разумно, разве не надо сперва понять? И все же, рискуя дать лишь полуответ на самые настойчивые возражения здравого смысла, проблему пользы нельзя просто обойти.

На эти вопросы, правда, некоторые из наших наставников или тех, кто претендует на эту роль, уже ответили. Только чтобы развенчать наши надежды. Более снисходительные сказали: история бесполезна и безосновательна. Другие, чья строгость не удовлетворяется полумерами, решили: история вредна. «Самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта», – выразился один из них, причем человек известный. Таким приговорам присуща сомнительная привлекательность: они заранее оправдывают невежество. К счастью, у нас еще сохранилась частица любознательности, и апелляция, пожалуй, еще возможна.

Но если нам предстоит пересмотр дела, надо для этого располагать более определенными данными. Ибо есть одно обстоятельство, о котором, видимо, не подумали заурядные хулители истории. В их суждениях немало красноречия и ума, но они по большей части не удосужились точно узнать, о чем рассуждают. Картину наших научных занятий они рисуют не с натуры. От нее отдает скорее риторикой Академии, чем атмосферой рабочего кабинета. А главное – она устарела. В результате весь этот ораторский пыл расходуется на то, чтобы заклинать призрак. Мы в этой книге постараемся поступать иначе. Методы, основательность которых мы попробуем взвесить, будут теми же, что реально применяются в исследовании, вплоть до мелких и тонких технических деталей. Наши проблемы будут теми же самыми проблемами, которые ежедневно ставит перед историком его предмет. Короче, мы желаем прежде всего рассказать, как и почему историк занимается своим делом. А уж потом пусть читатель сам решает, стоит ли им заниматься.

Однако будем осторожны. Задача наша, даже при таком понимании и ограничении, лишь с виду может показаться простой. Возможно, она была бы проста, имей мы дело с одним из прикладных искусств, о которых нетрудно дать полное представление, перечислив один за другим все проверенные временем приемы. Но история – не ремесло часовщика или краснодеревщика. Она – стремление к лучшему пониманию, следовательно – нечто, пребывающее в движении. Ограничиться описанием нынешнего состояния науки – это в какой-то мере подвести ее. Важнее рассказать о том, какой она надеется стать в дальнейшем своем развитии. Но подобная задача вынуждает того, кто хочет анализировать эту науку, в значительной мере основываться на личном выборе. Ведь всякую науку на каждом ее этапе пронизывают разные тенденции, которые невозможно отделить одну от другой без некоего предвосхищения будущего. Нас эта необходимость не отпугивает. В области духовной жизни, не менее чем в любой другой, страх перед ответственностью ни к чему хорошему не приводит. Но надо быть честным и предупредить читателя.

Кроме того, неминуемо возникающие трудности при изучении методов зависят от того, какой точки на кривой своего развития, всегда несколько ломаной, достигла в данный момент

рассматриваемая дисциплина. Лет пятьдесят назад, когда Ньютон еще царствовал безраздельно, было, я думаю, несравненно легче, чем сегодня, изложить всю механику с точностью технического чертежа. А история еще находится в фазе, куда более благоприятной для уверенных суждений.

Ибо история – не только наука, находящаяся в развитии. Это наука, переживающая детство, – как все науки, чьим предметом является человеческий дух, этот запоздалый гость в области рационального познания. Или, лучше сказать: состарившаяся, прозябавшая в эмбриональной форме повествования, долго перегруженная вымыслами, еще дольше прикованная к событиям, наиболее непосредственно доступным, как серьезное аналитическое занятие история еще совсем молода. Она силится теперь проникнуть глубже лежащих на поверхности фактов; отдав в прошлом дань соблазнам легенды или риторики, она хочет отказаться от отравы, ныне особенно опасной, от рутины учености и от эмпиризма в обличье здравого смысла. В некоторых важных проблемах своего метода она пока еще только начинает что-то нащупывать. Вот почему Фюстель де Куланж и до него Бейль, вероятно, были не совсем неправы, называя историю «самой трудной из всех наук».

Но не заблуждение ли это? Как ни туманен во многих отношениях наш путь, мы в настоящее время, думается мне, находимся в лучшем положении, чем наши прямые предшественники, и видим несколько ясней.

Поколения последних десятилетий XIX и первых лет XX в. жили, как бы замороженные очень негибкой, поистине контовской схемой мира естественных наук. Распространяя эту чудодейственную схему на всю совокупность духовных богатств, они полагали, что настоящая наука должна приводить путем неопровержимых доказательств к непреложным истинам, сформулированным в виде универсальных законов. То было убеждение почти всеобщее. Но, примененное к исследованиям историческим, оно породило – в зависимости от характера ученых – две противоположные тенденции.

Одни действительно считали возможной науку об эволюции человечества, которая согласовалась бы с этим, так сказать, «всеенаучным» идеалом, и не щадя сил трудились над ее созданием. Причем они сознательно шли на то, чтобы оставить за пределами этой науки о людях многие реальные факты весьма человеческого свойства, которые, однако, казались им абсолютно не поддающимися рациональному познанию. Этот осадок они презрительно именовали «происшествием», сюда же относили они большую часть жизни индивидуума – интимно личную. Такова была, в общем, позиция социологической школы, основанной Дюркгеймом. (По крайней мере, если не принимать во внимание смягчения, постепенно привнесенные в первоначальную жесткость принципов людьми слишком разумными, чтобы – пусть невольно – не поддаться давлению реальности.) Наша наука многим ей обязана. Она научила нас анализировать более глубоко, ограничивать проблемы более строго, я бы даже сказал, мыслить не так упрощенно. О ней мы здесь будем говорить лишь с бесконечной благодарностью и уважением. И если сегодня она уже кажется превзойденной, то такова рано или поздно расплата для всех умственных течений за их плодотворность.

Между тем другие исследователи заняли тогда же совершенно иную позицию. Видя, что историю не втиснуть в рамки физических закономерностей, и вдобавок испытывая смятение (в котором повинно было их первоначальное образование) перед трудностями, сомнениями, необходимостью снова и снова возвращаться к критике источников, они извлекли из всех этих фактов урок трезвого смирения. Дисциплина, которой они посвятили свой талант, казалась им в конечном счете неспособной к вполне надежным выводам в настоящем и не сулящей больших перспектив в будущем. Они видели в ней не столько подлинно научное знание, сколько некую эстетическую игру или, на худой конец, гигиеническое упражнение, полезное для здоровья духа. Их иногда называли «историками, рассказывающими историю», – прозвище для нашей корпорации оскорбительное, ибо в нем суть истории определяется как бы отрицанием

ее возможностей. Что касается меня, то я бы нашел более выразительный символ их общности на определенном этапе истории французской мысли.

Любезный и уклончивый Сильвестр Боннар – если придерживаться тех дат, к которым книга о нем приурочивает его деятельность, – это анахронизм, такой же, как святые античной поры, которых средневековые писатели наивно окрашивали в цвета собственного времени. Сильвестра Боннара (если на миг поверить, что эта вымышленная фигура существовала во плоти), «подлинного» Сильвестра Боннара, родившегося при Первой империи, поколение великих романтических историков могло бы считать своим: он разделил бы их трогательный и плодотворный энтузиазм, их несколько простодушную веру в будущее «философии» истории. Но уйдем от эпохи, к которой мы его отнесли, и вернем его тому времени, когда была сочинена его вымышленная биография. Там он будет достоин занять место патрона, цехового святого целой группы историков, бывших примерно духовными современниками его биографа: добросовестных тружеников, но с несколько коротким дыханием. Как у детей, чьи отцы чрезмерно предавались наслаждениям, на их костях как будто сказалась усталость от пышных исторических оргий романтизма; они были склонны принижать себя перед собратьями-учеными и в целом скорее призывали к осторожности, чем к дерзкому порыву. Думаю, не будет слишком злым считать, что их девизом могут служить поразительные слова, которые однажды сорвались с уст человека, весьма, впрочем, острого ума, каким был дорогой мой учитель Шарль Сеньобос: «Задавать себе вопросы очень полезно, *но отвечать на них очень опасно*». Что и говорить, это не речи хвастуна. Но если бы физики не были так дерзки в своей профессии, много ли достигла бы физика?

Словом, умственная атмосфера нашего времени уже не та. Кинетическая теория газов, эйнштейновская механика, квантовая теория коренным образом изменили то представление о науке, которое еще вчера было всеобщим. Представление это не стало менее высоким – оно сделалось более гибким. На место определенного последние открытия во многих случаях выдвинули бесконечно возможное; на место точно измеримого – понятие вечной относительности меры. Их воздействие сказалось даже на тех людях – я, увы, должен к ним причислить и себя, – кому недостаток способностей или образования позволяет наблюдать лишь издали и как бы опосредствованно за этой великой метаморфозой.

Итак, мы ныне лучше подготовлены к мысли, что некая область познания, где не имеют силы Евклидовы доказательства или неизменные законы повторяемости, может тем не менее претендовать на звание научной. Мы теперь гораздо легче допускаем, что определенность и универсальность – это вопрос степени. Мы уже не чувствуем своим долгом навязывать всем объектам познания единообразную интеллектуальную модель, заимствованную из наук о природе, ибо даже там этот шаблон уже не может быть применен вполне. Мы еще не слишком хорошо знаем, чем станут в будущем науки о человеке. Но мы знаем: для того, чтобы существовать – продолжая, конечно, подчиняться основным законам разума, – им не придется отказываться от своей оригинальности или ее стыдиться.

Я бы хотел, чтобы среди историков-профессионалов именно молодые приучились размышлять над этими сомнениями, этими постоянными «покаяниями» нашего ремесла. Это будет для них самым верным путем для того, чтобы, сделав сознательный выбор, подготовить себя к разумному направлению своих усилий. Особенно я желал бы, чтобы все больше молодых брались за историю более широкую и углубленную, судьбу которой мы – а нас с каждым днем все больше – теперь намечаем. Если книга моя этому поможет, я буду думать, что она не вовсе бесполезна. В ней, должен признаться, есть некая доля программы.

Но я пишу не только – и даже не главным образом – для внутреннего цехового употребления. Я не думаю, что следовало бы скрывать сомнения нашей науки от людей просто любопытных. Эти сомнения – наше оправдание. Более того – они придают нашей науке свежесть молодости. Мы не только имеем право требовать по отношению к истории снисходительности,

как ко всему начинающемуся. Незавершенное, которое постоянно стремится перерастить себя, обладает для всякого живого ума очарованием не меньшим, чем нечто, успешнейшим образом законченное. Добрый землепашец, сказал Пеги, любит пахать и сеять не меньше, чем собирать жатву.

* * *

Это краткое введение мне хотелось бы заключить личным признанием. Любая наука, взятая изолированно, представляет лишь некий фрагмент всеобщего движения к знанию. Выше я уже имел повод привести этому пример: чтобы правильно понять и оценить методы исследования данной дисциплины – пусть самые специальные с виду, – необходимо уметь их связать вполне убедительно и ясно со всей совокупностью тенденций, которые одновременно проявляются в других группах наук. Изучение методов как таковых составляет особую дисциплину, ее специалисты именуют себя философами. На это звание я претендовать не вправе. От подобного пробела в моем первоначальном образовании данный очерк, несомненно, много потеряет как в точности языка, так и в широте кругозора. Могу его рекомендовать лишь таким, каков он есть, т. е. как записи ремесленника, который всегда любил размышлять над своим ежедневным заданием, как блокнот подмастерья, который долго орудовал аршином и отвесом, но из-за этого не возомнил себя математиком.

Глава первая

История, люди и время

1. Выбор историка

Слово «история» очень старо, настолько старо, что порой надоедало. Случалось – правда, редко, – что его даже хотели вычеркнуть из словаря. Социологи дюркгеймовской школы отводят ему определенное место – только подальше, в жалком уголке наук о человеке; что-то вроде подвала, куда социологи, резервируя за своей наукой все, поддающееся, по их мнению, рациональному анализу, сбрасывают факты человеческой жизни, которые им кажутся наиболее поверхностными и произвольными.

Мы здесь, напротив, сохраним за «историей» самое широкое ее значение. Слово это как таковое не налагает запрета ни на какой путь исследования – с обращением преимущественно к человеку или к обществу, к описанию преходящих кризисов или к наблюдению за явлениями более длительными. Само по себе оно не заключает никакого кредо – согласно своей первоначальной этимологии, оно обязывает всего лишь к «исследованию». Конечно, с тех пор как оно, тому уже более двух тысячелетий, появилось на устах у людей, его содержание сильно изменилось. Такова судьба в языке всех по-настоящему живых слов. Если бы наукам приходилось при каждой из своих побед искать себе новое название – сколько было бы крестин в царстве академий, сколько потерянного времени! Оставаясь безмятежно верной славному своему эллинскому имени, история все же не будет теперь вполне той же историей, которую писал Гекатей Милетский, равно как физика лорда Кельвина или Ланжевена – это не физика Аристотеля. Но тогда что же такое история?

Нет никакого смысла помещать в начале этой книги, сосредоточенной на *реальных* проблемах исследования, длинное и сухое определение. Кто из серьезных тружеников обращал внимание на подобные символы веры? Из-за мелочной точности в этих определениях не только упускают все лучшее, что есть в интеллектуальном порыве (я разумею его попытки пробиться к еще не вполне ясному знанию, его возможности расширить свою сферу). Опасней то, что о них так тщательно заботятся лишь для того, чтобы жестче их разграничить. «Этот предмет, – говорит Страж Божеств Терминов, – или этот подход к нему, наверно, очень соблазнительны. Но берегись, о эфеб, это не История». Разве мы – цеховой совет былых времен, чтобы кодифицировать виды работ, дозволенных ремесленникам? и, закрыв перечень, предоставлять право выполнять их только нашим мастерам, имеющим патент?⁷ Физики и химики умнее: насколько мне известно, никто еще не видел, чтобы они спорили из-за прав физики, химии, физической химии или – если предположить, что такой термин существует, – химической физики.

И все же верно, что перед лицом необъятной и хаотической действительности историк всегда вынужден наметить участок, пригодный для приложения его орудий; затем он должен в нем сделать выбор, который, очевидно, не будет совпадать с выбором биолога, а будет именно

⁷ (Отрывок этого примечания на отдельном листке, начало потеряно) [... как показал] Люсьен Февр, сама история, когда у нее ищут ответа насчет пути развития, по которому непрестанно идет человечество, дает им сокрушительное опровержение. Не только каждая наука, взятая отдельно, находит среди перебежчиков из соседних областей мастеров, часто приносящих ей самые блестящие успехи. Пастер, обновивший биологию, не был биологом – и при его жизни ему частенько об этом напоминали; точно так же Дюркгейм и Видаль де ла Блаш, которые оставили в исторической науке начала XX в. несравненно более глубокий след, чем любой специалист, хотя первый был философом, перешедшим в социологию, а второй географом, и оба не числились в ряду дипломированных историков.

выбором историка. Это – подлинная проблема его деятельности. Она будет сопутствовать нам на всем протяжении нашего очерка.

2. История и люди

Иногда говорят: «История – это наука о прошлом». На мой взгляд, это неправильно. Ибо, во-первых, сама мысль, что прошлое как таковое способно быть объектом науки, абсурдна. Как можно, без предварительного отсеивания, сделать предметом рационального познания феномены, имеющие между собой лишь то общее, что они не современны нам? Точно так же можно ли представить себе всеобъемлющую науку о вселенной в ее нынешнем состоянии?

У истоков историографии древние анналисты, бесспорно, не терзались подобными сомнениями. Они рассказывали подряд о событиях, единственная связь между которыми состояла в том, что все они происходили в одно время: затмения, град, появление удивительных метеоров вперемешку с битвами, договорами, кончинами героев и царей. Но в этой первоначальной памяти человечества, беспорядочной, как восприятие ребенка, неуклонное стремление к анализу мало-помалу привело к необходимости классификации. Да, верно, язык глубоко консервативен и охотно хранит название «история» для всякого изучения перемен, происходящих во времени... Привычка безопасна – она никого не обманывает. В этом смысле существует история Солнечной системы, ибо небесные тела, ее составляющие, не всегда были такими, какими мы их видим теперь. Эта история относится к астрономии. Существует история вулканических извержений, которая, я уверен, весьма важна для физики земного шара. Она не относится к истории историков. Или, во всяком случае, она к нашей истории относится лишь в той мере, в какой ее наблюдения могут окольным путем оказаться связанными со специфическими интересами истории человечества. Как же осуществляется на практике разделение задач? Конкретный пример, вероятно, поможет нам это понять лучше, чем долгие рассуждения.

В X в. в побережье Фландрии врезался глубокий залив Звин. Затем его занесло песком. К какому разделу знаний отнести изучение этого феномена? Не размышляя, всякий назовет геологию. Механизм наносов, роль морских течений, возможно, изменения уровня океанов – разве не для того и была создана и выпестована геология, чтобы заниматься всем этим? Несомненно. Однако, если приглядеться, дело вовсе не так просто.

Прежде всего, видимо, надо отыскать причины изменения. И наша геология вынуждена задать вопросы, которые, строго говоря, уже не совсем относятся к ее ведомству. Ибо поднятию дна в заливе наверняка способствовали сооружение плотин, каналов, переносы фарватеров. Все это – действия человека, вызванные общественными нуждами и возможные лишь при определенной социальной структуре.

На другом конце цепи – другая проблема: проблема последствий. Неподалеку от котловины залива поднимался город. Это был Брюгге. Город связывал с заливом короткий отрезок реки. Через Звин Брюгге получал и отправлял большую часть товаров, благодаря которым он был – в меньшем, разумеется, масштабе – своего рода Лондоном или Нью-Йорком того времени. Но вот с каждым днем стало все сильнее ощущаться обмеление залива. Напрасно Брюгге, по мере того как отступала вода, выдвигал к устью реки свои аванпорты – его набережные постепенно замирали. Конечно, это отнюдь не единственная причина упадка Брюгге. Разве могут явления природные влиять на социальные, если их воздействие не подготовлено, поддержано или обусловлено другими факторами, которые идут от человека? Но в потоке каузальных волн эта причина входит, по крайней мере, в число наиболее эффективных.

Итак, творчество общества, моделирующееся вновь и вновь соответственно нуждам почвы, на которой оно живет, – это, как чувствует инстинктивно каждый человек, факт преимущественно «исторический». То же можно сказать и о судьбе крупного центра товарообмена; этот вполне характерный пример из «топографии знания» показывает, с одной стороны, точку скрещения, где союз двух дисциплин представляется необходимым для любой попытки

найти объяснение; с другой стороны, это точка перехода, где, завершив описание феномена и занимаясь отныне только оценкой его последствий, одна дисциплина в какой-то мере окончательно уступает место другой. Что же происходит всякий раз, когда, по-видимому, настоятельно требуется вмешательство истории? – Появление человеческого.

В самом деле, великие наши наставники, такие как Мишле или Фюстель де Куланж, уже давно научили нас это понимать: предметом истории является человек*⁸. Скажем точнее – люди. Науке о разнообразном больше подходит не единственное число, благоприятное для абстракции, а множественное, являющееся грамматическим выражением относительности. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей*⁹. Кто этого не усвоил, тот, самое большее, может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиною, там, он знает, его ждет добыча.

Из характера истории как науки о людях вытекает ее особое отношение к способу выражения. История – наука или искусство? Об этом наши прапрадеды времен около 1800 г. любили рассуждать с важностью. Позже, в 1890-х, погруженных в атмосферу несколько примитивного позитивизма, специалисты в области метода возмущались, что публика, читая исторические труды, обращает чрезмерное внимание на то, что они называли формой. Искусство против науки, форма против содержания: сколько тяжб, которым место в архивах судов схоластики!

В точном уравнивании не меньше красоты, чем в изящной фразе. Но каждой науке свойственна ее особая эстетика языка. Человеческие факты – по сути своей феномены слишком тонкие, многие из них ускользают от математического измерения. Чтобы хорошо их передать и благодаря этому хорошо понять (ибо можно ли понять до конца то, что не умеешь высказать?), требуется большая чуткость языка, точность оттенков в тоне. Там, где невозможно высчитать, очень важно внушить. Между выражением реальностей мира физического и выражением реальностей человеческого духа – контраст в целом такой же, как между работой фрезеровщика и работой мастера, изготавливающего лютни: оба работают с точностью до миллиметра, но фрезеровщик пользуется механическими измерительными инструментами, а музыкальный мастер руководствуется главным образом чувствительностью своего уха и пальцев. Ничего путного не получилось бы, если бы фрезеровщик прибегал к эмпирическому методу музыкального мастера, а тот пытался бы подражать фрезеровщику. Но кто станет отрицать, что, подобно чуткости пальцев, есть чуткость слова?

⁸ Фюстель де Куланж. Вводная лекция 1862 г. в Журнале исторического синтеза, т. II, 1901, стр. 243; Мишле. Курс лекций в Нормальной школе, 1829, цитируемый Г. Моно в книге: «Жизнь и идеи Жюль Мишле», т. I, стр. 127: «Мы будем заниматься одновременно изучением человека индивидуального – это будет философия – и изучением человека социального – это будет история». Надо заметить, что Фюстель де Куланж позже высказал эту мысль в форме более сжатой и полной, развитие которой в вышеприведенной фразе является в целом лишь неким комментарием: «История – не скопление всевозможных фактов, совершившихся в прошлом. Она – наука о человеческих обществах». Но, пожалуй, тут чрезмерно сужается роль индивидуума в истории: «человек в обществе» и «общества» – это два понятия, не вполне эквивалентные.

⁹ «Не еще одного человека, и никогда просто человека, но человеческие общества, организованные группы» (Люсьен Февр. «Земля и человеческая эволюция», стр. 201).

3. Историческое время

«Наука о людях», – сказали мы. Это еще очень расплывчато. Надо добавить: «о людях во времени». Историк не только размышляет о «человеческом». Среда, в которой его мысль естественно движется, – это категория длительности.

Конечно, трудно себе представить науку, абстрагирующуюся от времени. Однако для многих наук, условно дробящих его на искусственно однородные отрезки, оно не что иное, как некая мера. Напротив, конкретная и живая действительность, необратимая в своем стремлении, время истории – это плазма, в которой плавают феномены, это как бы среда, в которой они могут быть поняты. Число секунд, лет или веков, требующееся радиоактивному веществу для превращения в другие элементы, это основополагающая величина для науки об атомах. Но произошла ли какая-то из этих метаморфоз тысячу лет назад, вчера, сегодня или должна произойти завтра, – это обстоятельство, наверно, заинтересовало бы уже геолога, потому что геология – на свой лад дисциплина историческая, для физика же это обстоятельство совершенно безразлично. Зато ни один историк не удовлетворится констатацией факта, что Цезарь потратил на завоевание Галлии 8 лет; что понадобилось 15 лет, чтобы Лютер из эрфуртского новичка-ортодокса вырос в виттенбергского реформатора. Историк гораздо важнее установить для завоевания Галлии его конкретное хронологическое место в судьбах европейских обществ. И, никак не собираясь отрицать того, что духовный кризис, вроде пережитого братом Мартином, связан с проблемой вечности, историк все же решится подробно его описать лишь после того, как с точностью определит этот момент в судьбе самого человека, героя происшествия, и цивилизации, которая была средой для такого кризиса.

Это подлинное время – по природе своей некий континуум. Оно также непрестанное изменение. Из антитезы этих двух атрибутов возникают великие проблемы исторического исследования. Прежде всего проблема, которая ставит под вопрос даже право на существование нашей работы. Возьмем два последовательных периода из чреды веков. В какой мере связь между ними, создаваемая непрерывным течением времени, оказывается более существенной, чем их несходство, которое порождено тем же временем, – иначе, надо ли считать знание более старого периода необходимым или излишним для понимания более нового?

4. Идол истоков

Никогда не вредно начать с *mea culpa*¹⁰. Объяснение более близкого более далеким, естественно, любезное сердцу людей, которые избрали прошлое предметом своих занятий, порой гипнотизирует исследователей. Этот идол племени историков можно было бы назвать «манией происхождения». В развитии исторической мысли для него также был свой, особенно благоприятный, момент.

Если не ошибаюсь, Ренан как-то написал (цитирую по памяти, а потому, боюсь, неточно): «Во всех человеческих делах прежде всего достойны изучения истоки». А до него Сент-Бёв: «Я с интересом прослеживаю и примечаю все начинающееся». Мысль, вполне принадлежащая их времени. Слово «истоки» – также. Ответом на «Истоки христианства» стали немного спустя «Истоки современной Франции». Уж не говоря об эпигонах. Но само это слово смущает, ибо оно двусмысленно.

Означает ли оно только «начала»? Тогда оно, пожалуй, почти ясно. С той оговоркой, однако, что для большинства исторических реальностей само понятие этой начальной точки как-то удивительно неуловимо. Конечно, все дело в определении. В определении, которое, как на грех, слишком часто забывают сформулировать.

Надо ли, напротив, понимать под истоками причины? Тогда у нас будут лишь те трудности, которые непременно (в особенности же в науках о человеке) свойственны каузальным исследованиям.

Но часто возникает контаминация этих двух значений, тем более опасная, что ее в общем-то не очень ясно ощущают. В обиходном словоупотреблении «истоки» – это начало, являющееся объяснением. Хуже того: достаточное для объяснения. Вот где таится двусмысленность, вот где опасность.

Хорошо бы заняться исследованием – и весьма интересным – этого эмбриогенического наваждения. «Я не понимаю вашего смятения, – признавался Баррес утратившему веру священнику. – Что общего между спорами кучки ученых о каком-то древнееврейском слове и моими чувствами? Вполне достаточно атмосферы храмов». И, в свою очередь, Моррас: «Какое мне дело до евангелий четырех темных евреев?» («темных», как я понимаю, должно означать «плебеев», ибо трудно не признать за Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном хотя бы некоторую литературную известность). Эти острословы нас дурачат: ни Паскаль, ни Боссюэ, конечно, так не сказали бы. Можно, разумеется, представить себе религиозный опыт, ничем не обязанный истории. Для чистого деиста достаточно внутреннего озарения, чтобы верить в Бога. Но не в бога христиан. Ибо христианство – я об этом уже напоминал – по сути своей религия историческая, т. е. такая, в которой основные догмы основаны на событиях. Перечитайте «Credo»: «Верую в Иисуса Христа..., распятого при Понтии Пилате... и воскресшего из мертвых на третий день». Здесь начала веры являются и ее основаниями.

Такая направленность мыслей, возможно уместная в определенной форме религиозного исследования, распространилась вследствие неизбежного влияния на другие области знания, где ее оправданность была гораздо более спорной. История, сосредоточенная на происхождении, была и здесь поставлена на службу определению ценностей. Что же еще имел в виду Тэн, исследуя «истоки» Франции своего времени, как не обличение политики, исходившей, по его мнению, из ложной философской концепции человека? Идет ли речь о нашествиях германцев или о завоевании Англии норманнами, к прошлому для объяснения настоящего прибегали так активно лишь с целью убедительней оправдать или осудить настоящее. Так что во многих слу-

¹⁰ моя вина, ошибка (лат.).

чаях демон истоков был, возможно, лишь воплощением другого сатанинского врага подлинной истории – мании судить.

Вернемся, однако, к изучению христианства. Одно дело, когда ищущее себя религиозное сознание приходит к некоему правилу, определяющему его отношение к католической религии, какой та повседневно предстает в наших церквях. Другое дело, когда история объясняет современное католичество как объект наблюдения. Само собой разумеется, что необходимое для правильного понимания современных религиозных феноменов знание их начал недостаточно для их объяснения. Чтобы упростить проблему, не станем даже спрашивать себя, в какой степени вера, под именем, оставшимся неизменным, действительно осталась в существе своем совершенно неизменной. Предположим даже, что традиция нерушима, – надобно еще найти причины ее сохранности. Причины, конечно, человеческие; гипотеза о providentialном воздействии не входит в компетенцию науки. Одним словом, вопрос уже не в том, чтобы установить, был ли Иисус распят, а затем воскрес. Нам теперь важно понять, как это получается, что столько людей вокруг нас верят в распятие и воскресение. Приверженность к какому-либо верованию, очевидно, является лишь одним аспектом жизни той группы, в которой эта черта проявляется. Она становится неким узлом, где переплетается множество сходящихся черт, будь то социальная структура или способ мышления. Короче, она влечет за собой проблему человеческой среды в целом. Из желудя рождается дуб. Но он становится и остается дубом лишь тогда, когда попадает в условия благоприятной среды, а те уже от эмбриологии не зависят.

* * *

История религии приведена здесь лишь в качестве примера. К какому бы роду человеческой деятельности ни обращалось исследование, искателей истоков подстерегает все то же заблуждение: смешение преемственной связи с объяснением.

В общем это уже было иллюзией прежних этимологов, которым казалось, что они все объяснили, когда, толкуя современное значение слова, приводили самое древнее из им известных; когда они, например, доказывали, что «бюро» первоначально обозначало некую ткань, а «тембр» – род барабана. Как будто главная проблема не в том, чтобы узнать, как и почему произошел сдвиг значения. Как будто нынешнее слово, так же как его предшественник, не имеет в языке особой функции, определяемой современным состоянием словаря, которое в свою очередь определяется социальными условиями данного момента. В министерских кабинетах «бюро» означает «бюрократию». Когда я спрашиваю в почтовом окошке марку (timbre – «тембр»), для того чтобы я мог так употребить это слово, потребовалось – наряду с постепенно развивавшейся организацией почтовой службы – техническое изменение, решающее для дальнейших путей обмена мыслями и заменившее приложение печати приклеиванием бумажки с рисунком. Такое словоупотребление стало возможным лишь потому, что разные значения древнего слова, специализировавшись, разошлись очень далеко, и нет никакой опасности спутать марку (timbre), которую я собираюсь наклеить на конверт, и, например, тембр инструмента, чистоту которого мне расхваливает продавец музыкальных инструментов.

«Истоки феодального режима», – говорят нам. Где их искать? Одни отвечают – «в Риме», другие – «в Германии». Причины этих миражей понятны. Там и здесь действительно существовали определенные обычаи – отношения клиентелы, военные дружины, держание как плата за службу, – которые последующим поколениям, жившим в Европе в так называемую эпоху феодализма, приходилось поддерживать. Впрочем, с немалыми изменениями. Прежде всего в этих краях употреблялись слова: «бенефиций» (у латинян) и «феод» (у германцев), которыми пользовались последующие поколения, постепенно и безотчетно вкладывая в них совершенно новое содержание. Ибо, к великому отчаянию историков, у людей не заведено всякий раз, как

они меняют обычаи, менять словарь. Конечно, установленные факты чрезвычайно интересны. Но можно ли полагать, что они исчерпывают проблему причин? Европейский феодализм в своих характерных учреждениях не был архаическим сплетением пережитков. Он возник на определенном этапе развития и был порождением всей социальной среды в целом.

Сеньобос как-то сказал: «Я полагаю, что революционные идеи XVIII в... происходят от английских идей XVII в.». Имел ли он в виду, что французские публицисты эпохи Просвещения, прочитав некие английские сочинения предыдущего века или косвенно подпав под их влияние, усвоили из них свои политические принципы? В этом можно было бы с ним согласиться. Однако при допущении, что в эти иноземные идеи нашими философами со своей стороны не было внесено ничего оригинального – ни в интеллектуальное содержание, ни в эмоциональную окраску. Но даже при таком, достаточно произвольном, сведении к факту заимствования история этого умственного течения будет объяснена еще далеко не полностью. Останется вечная проблема: почему заимствование произошло именно в данное время, не раньше и не позже? Заражение предполагает наличие двух условий: генерации микробов и, в момент заболевания, – благоприятной «почвы». Короче, исторический феномен никогда не может быть объяснен вне его времени. Это верно для всех этапов эволюции. Для того, который мы переживаем, как и для всех прочих. Об этом задолго до нас сказано в арабской пословице: «Люди больше походят на свое время, чем на своих отцов». Забывая об этой восточной мудрости, наука о прошлом нередко себя дискредитировала.

5. Границы современного и несовременного

Надо ли думать, однако, что раз прошлое не может полностью объяснить настоящее, то оно вообще бесполезно для его объяснения? Поразительно, что этот вопрос может возникнуть и в наши дни.

Вплоть до ближайшей к нам эпохи на него действительно заранее давался почти единодушный ответ. «Кто будет придерживаться только настоящего, современного, тому не понять современного», – писал в прошлом веке Мишле в начале своей прекрасной книги «Народ», дышавшей, однако, всеми злободневными страстями. К благодеяниям, которых он ждет от истории, уже Лейбниц причислял «истоки современных явлений, найденных в явлениях прошлого», ибо, добавлял он, «действительность может быть лучше всего понята по ее причинам»^{*11}.

Но после Лейбница, после Мишле произошли великие изменения: ряд революций в технике непомерно увеличили психологическую дистанцию между поколениями. Человек века электричества или авиации чувствует себя – возможно, не без некоторых оснований – очень далеким от своих предков. Из этого он легко делает уже, пожалуй, неосторожный вывод, что он ими больше не детерминирован. Добавьте модернистский уклон, свойственный всякому инженерному мышлению. Есть ли необходимость вникать в идеи старика Вольта о гальванизме, чтобы запустить или отремонтировать динамомашину? По аналогии, явно сомнительной, но естественно возникающей в умах, находящихся под влиянием техники, многие даже думают, что для понимания великих человеческих проблем наших дней и для попытки их разрешения изучение проблем прошлого ничего не дает. Также и историки, не всегда это сознавая, погружены в модернистскую атмосферу. Разве не возникает у них чувство, что и в их области граница, отделяющая недавнее от давнего, отодвигается все дальше? Что представляет собой для экономиста наших дней система стабильных денег и золотого эталона, которая вчера еще фигурировала во всех учебниках политической экономии как норма для современности – прошлое, настоящее или историю, уже порядком отдающую плесенью? За этими паралогизмами легко, однако, обнаружить комплекс менее несостоятельных идей, чья хотя бы внешняя простота покорила некоторые умы.

* * *

Полагают, что в обширном потоке времени можно выделить некую фразу. Относительно недалекая от нас в своей исходной точке, она захватывает другим концом нынешние дни. В ней, как нам кажется, в ее наиболее характерных чертах социального или политического состояния, в материальном оснащении, в общем духе цивилизации, нет ничего обнаруживающего глубокие отличия от мира, с которым мы связаны сейчас. Одним словом, она представляется отмеченной по отношению к нам весьма высоким коэффициентом «современности». Отсюда ей приписывается особая честь (или недостаток!) – ее не смешивают со всем остальным прошлым. «С 1830 г. – это уже не история, – говаривал один из наших лицейских учителей, который был очень стар, когда я был очень молод, – это политика». Теперь мы уже не скажем: «с 1830 г.» – Три Славных Дня с тех пор тоже состарились – и не скажем: «это политика». Скорее произнесем почтительно: «это социология», или с меньшим уважением: «это журналистика».

¹¹ Предисловие к «Accessiones Historicae» (1700), t. IV, 2, p. 53: «Tria sunt quae exoptamus in Historia: primum, voluptatem noscendi res singulares; deinde, utilia in primis vitae praecepta; ac denique origines praesentium a praeteritis repetitas, cum omnia optime ex causis noscantur». («Трех выгод мы ждем от истории: прежде всего – наслаждения узнавать необычные вещи, затем – полезных, особенно для жизни, наставлений и, наконец, – рассказа о том, как настоящее произошло из прошлого, когда все превосходно выводится из своих причин».)

Однако многие охотно повторяют: с 1914 г. или с 1940 г. – это уже не история. Причем полного согласия насчет причин такого остракизма нет.

Одни, полагая, что события к нам ближайшие из-за этой близости не поддаются беспристрастному изучению, желают всего лишь уберечь целомудренную Клио от слишком жгучих прикосновений. Так, видимо, думал мой старый учитель. Разумеется, в этом – недоверие к нашей способности владеть своими нервами. А также забвение того, что как только в игру вмешиваются страсти, граница между современным и несовременным вовсе не определяется хронологией. Так ли уж был не прав наш славный директор лангедокского лицея, где я впервые дебютировал на преподавательском поприще, когда своим зычным голосом командира над школярами предупреждал меня: «Девятнадцатый век – тема здесь неопасная. Но когда затронете религиозные войны, будьте сугубо осторожны». И правда, у человека, который, сидя за письменным столом, не способен оградить свой мозг от вируса современности, токсины этого вируса, того и гляди, профильтруются даже в комментарии к «Илиаде» или к «Рамаяне».

Другие ученые, напротив, справедливо полагают, что настоящее вполне доступно научному исследованию. Но это исследование они предоставляют дисциплинам, сильно отличающимся от тех, что имеют своим объектом прошлое. Они, например, анализируют и пытаются понять современную экономику с помощью наблюдений, ограниченных во времени несколькими десятилетиями. Короче, они рассматривают эпоху, в которую живут, как отделенную от предыдущих слишком резкими контрастами, что вынуждает их искать ее объяснения в ней самой. Таково же инстинктивное убеждение многих просто любознательных людей. История более или менее отдаленных периодов привлекает их только как безобидное развлечение для ума. С одной стороны, кучка антикваров, по какой-то мрачной склонности занимающихся сдиранием пелен с мертвых богов; с другой, – социологи, экономисты, публицисты – единственные исследователи живого...

6. Понять настоящее с помощью прошлого

Если приглядеться, то привилегия самопонимания, которую приписывают настоящему, зиждется на ряде довольно странных постулатов. Прежде всего предполагается, что условия человеческой жизни претерпели за одно-два поколения изменение не только очень быстрое, но и тотальное, так что ни одно мало-мальски старое учреждение, ни один традиционный аспект поведения не избежали влияния революций в науке или технике. При этом, однако, забывают о силе инерции, присущей множеству социальных явлений.

Человек тратит время на усовершенствования, а потом становится их более или менее добровольным пленником. Кого из проезжавших по нашему Северу и наблюдавших тамошний пейзаж не поражали странные контуры полей? Несмотря на изменения, которые в течение ряда веков происходили в первоначальной схеме земельной собственности, вид этих полос, непомерно узких и вытянутых, разрезающих пахотную землю на несметное множество парцелл, и сегодня повергает агронома в смущение. Затраты лишних усилий, обусловленные подобным расположением, неудобства при эксплуатации – факт бесспорный. Как его объяснить? Гражданским кодексом и его неизбежными следствиями, отвечали вечно спешащие публицисты. Измените, добавляли они, наши законы о наследовании, и зло будет полностью уничтожено. Если бы они лучше знали историю, если бы они к тому же лучше вникли в мышление крестьянина, формировавшееся веками практической деятельности, они бы не считали решение таким простым. Действительно, эта чересполосица восходит к временам столь древним, что до сих пор ни один ученый не сумел удовлетворительно ее объяснить; вероятно в ней больше повинны землепашцы эпохи дольменов, чем законодатели Первой империи. Неверное определение причины здесь, как почти всегда, мешает найти лекарство. Незнание прошлого не только вредит познанию настоящего, но ставит под угрозу всякую попытку действовать в настоящем.

Более того. Если бы общество полностью детерминировалось лишь ближайшим предшествующим периодом, оно, даже обладая самой гибкой структурой, при таком резком изменении лишилось бы своего костяка; при этом надо еще допустить, что общение между поколениями происходит, я бы сказал, как в шествии гуськом, т. е. что дети вступают в контакт со своими предками только через посредство родителей.

Но ведь так не бывает, даже если говорить о чисто устных контактах. Взгляните, к примеру, на наши деревни. Условия труда заставляют отца и мать почти весь день находиться вдали от дома, и дети воспитываются в основном дедушками и бабушками. Итак, при каждом новом этапе формирования сознания делается шаг вспять – в обход поколения, являющегося главным носителем изменений, умы наиболее податливые объединяются с наиболее отвердевшими. Отсюда идет, несомненно, традиционализм, присущий столь многим крестьянским обществам. Случай этот совершенно ясен. И он не единственный. Естественный антагонизм между возрастными группами имеет место в основном между группами смежными – молодежь часто бывает обязана урокам стариков, – во всяком случае не меньше, чем урокам людей среднего возраста.

* * *

Еще большее влияние оказывает письменность, способствуя передаче идей поколениям, порой весьма отдаленным, т. е., по сути, поддерживая преемственность цивилизации. Лютер, Кальвин, Лойола – это, несомненно, люди прошлого, люди XVI века, и историк, желающий их понять и сделать понятными для других, прежде всего должен поместить их в среду, окунуть в умственную атмосферу того времени, когда существовали духовные проблемы, уже, собственно, не являющиеся нашими проблемами. Но кто решится сказать, что для правиль-

ного понимания современного мира проникновение в суть протестантской реформы или католической Контрреформации, отделенных от нас несколькими столетиями, менее необходимо, чем изучение многих других умственных или эмоциональных течений, пусть даже более близких во времени, но и более эфемерных?

Ошибка здесь в общем ясна, и, чтобы ее избежать, наверно, достаточно ее сформулировать. Суть в том, что эволюцию человечества представляют как ряд коротких и глубоких рывков, каждый из которых охватывает всего лишь несколько человеческих жизней. Наблюдение, напротив, убеждает, что в этом огромном континууме великие потрясения способны распространяться от самых отдаленных молекул к ближайшим. Что мы скажем о геофизике, который, ограничив свои расчеты километрами, решит, что влияние Луны на наш земной шар гораздо значительней, чем влияние Солнца? Во времени, как и во Вселенной, действие какой-либо силы определяется не только расстоянием.

Наконец, можно ли считать, что среди явлений, отошедших в прошлое, именно те, которые как будто перестали управлять настоящим, – исчезнувшие без следа верования, неудавшиеся социальные формы, отмершая техника – бесполезны для понимания настоящего? Это означало бы забыть, что нет истинного познания без шкалы сравнения. Конечно, при условии, что сопоставление захватывает факты хоть и различные, но вместе с тем родственные. Никто не станет спорить, что здесь именно такой случай.

Разумеется, мы теперь уже не считаем, что, как писал Макиавелли и как полагали Юм или Бональд, во времени «есть по крайней мере нечто одно неизменное – человек». Мы уже знаем, что человек также сильно изменился – и его дух и, несомненно, даже самые тонкие механизмы его тела. Да и могло ли быть иначе? Духовная атмосфера претерпела глубокие изменения, гигиенические условия, питание изменились не меньше. И все же, по-видимому, в человеческой природе и в человеческих обществах существует некий постоянный фонд. Без этого даже имена людей и названия обществ потеряли бы свой смысл. Можем ли мы понять этих людей, изучая их только в их реакциях на частные обстоятельства определенного момента? Даже чтобы понять, чем они являются в этот именно момент, данных опыта будет недостаточно. Множество возможностей, до поры до времени мало проявляющихся, но каждый миг способных пробудиться, множество стимулов, более или менее бессознательных, индивидуальных или коллективных настроений останутся в тени. Данные единичного опыта всегда бессильны для выявления его же компонентов и, следовательно, для его истолкования.

7. Понять прошлое с помощью настоящего

Общность эпох настолько существенна, что познавательные связи между ними и впрямь обоюдны. Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего. Однажды я сопровождал в Стокгольм Анри Пиренна. Едва мы прибыли в город, он сказал: «Что мы посмотрим в первую очередь? Здесь, кажется, выстроено новое здание ратуши. Начнем с него». Затем, как бы предупреждая мое удивление, добавил: «Будь я антикваром, я смотрел бы только старину. Но я историк. Поэтому я люблю жизнь». Способность к восприятию живого – поистине главное качество историка. Пусть не вводит нас в заблуждение некая сухость стиля – этой способностью отличались самые великие среди нас: Фюстель, Мэтланд, каждый на свой лад (эти были более строгими), не менее, чем Мишле. И, быть может, она-то и является тем даром фэй, который невозможно приобрести, если не получил его в колыбели. Однако ее надо неперестанно упражнять и развивать. Каким образом? Пример этому дал сам Пиренн – постоянным контактом с современностью. Ибо в ней, в современности, непосредственно доступен нашим чувствам трепет человеческой жизни, для восстановления которого в старых текстах нам требуется большое усилие воображения. Я много раз читал, часто сам рассказывал истории о войне и сражениях. Знал ли я действительно – в полном смысле слова «знать», – знал ли я нутром это жгучее отвращение, прежде чем сам его испытал, прежде чем узнал, что означает для армии окружение, а для народа – поражение? Прежде чем я сам летом и осенью 1918 г. вдохнул радостный воздух победы (надеюсь, что мне придется еще раз вдохнуть его полной грудью, но, увы, запах его вряд ли будет таким же), знал ли я подлинный смысл этого прекрасного слова? По правде сказать, мы сознательно или бессознательно в конечном счете всегда заимствуем из нашего повседневного опыта, придавая ему, где должно, известные новые нюансы, те элементы, которые помогают нам воскресить прошлое. Самые слова, которыми мы пользуемся для характеристики исчезнувших состояний души, отмерших социальных форм, – разве имели бы они для нас какой-то смысл, если бы мы прежде не наблюдали жизнь людей? Это инстинктивное смешение гораздо разумней заменить сознательным и контролируемым наблюдением. Думается, что великий математик будет не менее велик, если пройдет по миру, в котором он живет, с закрытыми глазами. Но эрудит, которому неинтересно смотреть вокруг себя на людей, на вещи и события, вероятно, заслуживает, чтобы его, как сказал Пиренн, называли антикварным орудием. Ему лучше отказаться от звания историка.

* * *

Не всегда, однако, дело лишь в воспитании исторической чуткости. Бывает, что знание настоящего в каком-то плане еще более непосредственно помогает пониманию прошлого.

Действительно, было бы грубой ошибкой полагать, что порядок, принятый историками в их исследованиях, непременно должен соответствовать порядку событий. При условии, что история будет затем восстановлена в реальном своем движении, историкам иногда выгодней начать ее читать, как говорил Мэтланд, «наоборот». Ибо для всякого исследования естественно идти от более известного к более темному. Конечно, далеко не всегда свидетельства документов проясняются по мере того, как мы приближаемся к нашему времени. Мы несравненно хуже осведомлены, например, о X в. нашей эры, чем об эпохе Цезаря или Августа. Однако в большинстве случаев наиболее близкие к нам периоды совпадают с зонами относительной ясности. Добавьте, что, механически двигаясь от дальнего к ближнему, мы всегда рискуем потратить время на изучение начал или причин таких явлений, которые, возможно, окажутся на проверку воображаемыми. Даже славнейшие из нас совершали порой странные ошибки, отвер-

гая в своей практике регрессивный метод тогда и там, где он был нужен. Фюстель де Куланж сосредоточился на «истоках» феодальных учреждений, о которых он, боюсь, имел довольно смутное представление, и на зачатках серважа, который он, зная лишь из вторых рук, видел в совершенно ложном свете.

Вовсе не так уж редко, как обычно думают, случается, что для достижения полной ясности надо в исследовании доходить вплоть до нынешних дней. В некоторых своих основных чертах наш сельский пейзаж, как мы уже видели, восходит к эпохам чрезвычайно далеким. Но чтобы истолковать скудные документы, позволяющие нам проникнуть в этот туманный генезис, чтобы правильно поставить проблемы, чтобы их хотя бы представить себе, надо выполнить одно важнейшее условие: наблюдать, анализировать пейзаж современный. Он сам по себе дает перспективу целого, из которой необходимо исходить. Не для того, конечно, чтобы рассматривать этот облик как раз навсегда застывший и навязывать его каждому этапу прошлого, встречающемуся при движении к верховьям потока времени. Здесь, как и повсюду, историк хочет уловить изменение. Но в фильме, который он смотрит, целым остался только последний кадр. Чтобы восстановить стершиеся черты остальных кадров, следует сперва раскручивать пленку в направлении, обратном тому, в котором шла съемка.

Стало быть, есть только одна наука о людях во времени, наука, в которой надо непрерывно связывать изучение мертвых с изучением живых. Как ее назвать? Я уже говорил, почему древнее слово «история» мне кажется наиболее емким, наименее ограничивающим; оно также более всего насыщено волнующими воспоминаниями о многовековом труде. Следовательно, оно наилучшее. Если мы, вопреки известным предрассудкам – впрочем, куда менее старым, чем оно, – расширяем его до познания настоящего, то при этом – надо ли тут оправдываться? – мы не преследуем никаких узкокорпоративных интересов. Жизнь слишком коротка, знания приобретаются слишком долго, чтобы даже самый поразительный гений мог надеяться освоить тотальный опыт человечества. Современная история всегда будет иметь своих специалистов, так же как каменный век или египтология. Мы только просим помнить, что в исторических исследованиях нет места автаркии. Изолировавшись, каждый из специалистов сможет что-либо постичь лишь наполовину даже в собственной области; единственно подлинная история, возможная лишь при взаимопомощи, – это всемирная история.

Всякая наука, однако, определяется не только своим предметом. Ее границы в такой же мере могут быть установлены характером присущих ей методов. Остается задать вопрос, не следует ли придерживаться в корне различной техники исследования в зависимости от того, приближаемся мы или удаляемся от настоящего момента. Это и есть проблема исторического наблюдения.

Глава вторая

Историческое наблюдение

1. Главные черты исторического наблюдения

Что имеют в виду под изучением прошлого?

Наиболее очевидные особенности изучения истории, понимаемой в этом ограниченном и обиходном смысле, описывались неоднократно. Историк как таковой, говорят нам, начисто лишен возможности лично установить факты, которые он изучает. Ни один египтолог не видел Рамсеса. Ни один специалист по Наполеоновским войнам не слышал пушек Аустерлица. Итак, о предшествовавших эпохах мы можем говорить лишь на основе показаний свидетелей. Мы играем роль следователя, пытающегося восстановить картину преступления, при котором сам он не присутствовал, или физика, вынужденного из-за гриппа сидеть дома и узнающего о результатах своего опыта по сообщениям лабораторного служителя. Одним словом, в отличие от познания настоящего, познание прошлого всегда будет «непрямым».

Что в этих замечаниях есть доля правды, никто не станет отрицать. Однако они еще нуждаются в существенных уточнениях.

Представим себе полководца, одержавшего победу и тут же начавшего собственноручно писать о ней отчет. Он составил план сражения. Он этим сражением управлял. Благодаря незначительной территории (чтобы в нашей игре были пущены в ход все козыри, мы воображаем стычку старых времен, происходящую на небольшом пространстве) он мог наблюдать всю схватку – она разворачивалась на его глазах. И все же не будем обольщаться: многие существенные эпизоды ему придется описывать по донесениям своих помощников. Но и тогда он, став рассказчиком, будет, вероятно, вести себя так же, как за несколько часов до того, во время боя. Когда ему приходилось ежеминутно направлять движение своих отрядов, сообразуясь с изменчивым ходом баталии, какая информация, по-вашему, была для него полезней: картины боя, более или менее смутно видимые в подзорную трубу, или же рапорты, которые доставляли ему, скача во весь опор, на́рочные и адъютанты? Изредка полководец и впрямь может самолично быть полноценным свидетелем своих действий. Но даже в нашей столь благоприятной гипотетической ситуации остается ли хоть что-нибудь от этого пресловутого прямого наблюдения, мнимой привилегии изучения настоящего?

Дело в том, что непосредственное наблюдение – почти всегда иллюзия и как только кругозор наблюдателя чуть-чуть расширится, он это понимает. Все увиденное состоит на добрую половину из увиденного другими. Если я экономист, я изучаю движение товарооборота в данный месяц, в данную неделю; делаю я это на основе статистических сводок, которые составлял не я. Если я исследую животрепещущее настоящее, я принимаюсь зондировать общественное мнение по главным проблемам дня: я ставлю вопросы, записываю, сопоставляю и классифицирую ответы. Что же составят они, как не более или менее неуклюже исполненную картину того, что мои собеседники, как им кажется, самостоятельно думают, или же ту картину мыслей, какую они хотят мне представить. Они суть объекты моего опыта. Но если физиолог, анатомирующий морскую свинку, видит собственными глазами язву или аномалию, которую ищет, то я знакомлюсь с состоянием духа моих «людей с улицы» лишь по картине, которую им самим угодно мне представить. Ибо в хаотическом сплетении событий, поступков и слов, из которых складывается судьба некоей группы людей, индивидуум может обозреть лишь маленький уголок, он жестко ограничен своими пятью чувствами и собственным вниманием. Кроме того, он знает непосредственно лишь собственное состояние ума; всякое изучение человечества, каков

бы ни был избранный для этого момент, всегда будет черпать большую часть своего содержания в свидетельствах других людей. Исследователю настоящего досталась в этом смысле не намного лучшая доля, чем историку прошлого.

Но надо ли считать, что наблюдение прошлого, даже весьма отдаленного, всегда до такой степени является «непрямым»?

Легко понять, почему впечатление об этой отдаленности объекта познания от исследователя царило в умах многих теоретиков истории. Дело в том, что они прежде всего имели в виду историю событий, эпизодов, т. е. такую историю, в которой (верно это или неверно, пока еще не время говорить) придается крайняя важность точному воспроизведению действий, речей или позиций нескольких личностей, участвующих в сцене, где, как в классической трагедии, сосредоточены все движущие силы кризисного момента: день революции, сражение, дипломатическая встреча. Рассказывают, что 2 сентября 1792 г. голову принцессы Ламбаль пронесли на острие пики под окнами Тампля, где находилась королевская семья. Что это – правда или вымысел? Пьер Карон, написавший удивительно добросовестную книгу о сентябрьской резне, не решается высказать свое мнение. Если бы ему выпало самому наблюдать с одной из башен Тампля этот жуткий кортеж, он, наверное, знал бы, как было дело. При том условии, что он, сохранив в этих обстоятельствах – что вполне правдоподобно – хладнокровие историка и справедливо не доверяя своей памяти, позаботился бы вдобавок тут же записать свои наблюдения. В подобном случае историк, несомненно, чувствует себя по отношению к честному очевидцу события в несколько униженном положении. Он как бы находится в хвосте колонны, где приказы передаются от головы по рядам. Место не слишком удачное для получения правильной информации. Мне пришлось наблюдать во время ночного перехода такой случай. По рядам было передано: «Внимание, воронка от снаряда налево!» – Последний в колонне услышал уже: «Шагом марш налево!» – сделал шаг в сторону и провалился.

Есть, однако, и другие ситуации. В стенах сирийских крепостей, сооруженных за несколько тысячелетий до Рождества Христова, нынешние археологи нашли совершенно нетронутые сосуды, наполненные скелетами детей. Трудно предположить, что эти кости оказались тут случайно; очевидно, мы имеем дело со следами человеческих жертвоприношений, совершенных во время строительства и как-то с ним связанных. О верованиях, нашедших себе выражение в подобных ритуалах, нам придется, конечно, разузнавать в источниках того времени, если они существуют, или же рассуждать по аналогии, основываясь на других свидетельствах. Можно ли ознакомиться с верой, которую не разделяешь, иначе чем с чужих слов? Так обстоит дело, повторяю, со всеми явлениями сознания, когда они нам чужды. Что ж до самого факта жертвоприношения, тут, напротив, наше положение совсем иное. Конечно, мы этот факт, строго говоря, не устанавливаем чисто непосредственным восприятием; равно как геолог – факт существования аммонита, окаменелости которого он находит; равно как физик – движение молекул, воздействие которого он обнаруживает в броуновском движении. Но весьма простое рассуждение, исключаяющее возможность иного толкования, позволяет нам перейти от бесспорно установленного объекта к факту, доказательством которого служит этот объект. Такой ход примитивного истолкования в целом весьма близок инстинктивным умственным операциям, без которых никакое ощущение не может стать восприятием; в этом случае между объектом и нами нет ничего, что бы требовало посредничества другого наблюдателя. Специалисты в области метода обычно понимали под непрямым познанием такое, которое доходит до ума исследователя по каналам других человеческих умов. Определение, пожалуй, не слишком удачное; оно указывает только на присутствие посредника – но почему это звено должно быть непременно человеческой породы? Не будем, однако, спорить о словах и примем общепотребительное значение. В этом смысле наши знания о жертвах, захороненных в стенах сирийских крепостей, никак нельзя назвать непрямыми.

Многие другие следы прошлого также доступны прямому восприятию. Это почти все огромное количество неписанных свидетельств и даже большое число письменных. Если бы известнейшие из теоретиков нашей методологии не относились к приемам, присущим археологии, со столь странным и высокомерным безразличием, если бы они в плане документальном не были заморожены рассказом, как в плане фактическом – происшествием, они бы наверняка не спешили отбросить нас к наблюдению, всегда от кого-либо или от чего-либо зависящему. В Халдее, в царских гробницах Ура, были найдены бусины из амазонита. Поскольку ближайшие его залежи находятся в центре Индии или в окрестностях Байкала, напрашивается вывод, что, начиная с III тыс. до нашей эры, города Нижнего Евфрата поддерживали торговые отношения с весьма далекими краями. К индукции можно относиться по-разному. Но считать ли ее надежной или нет, здесь, бесспорно, индукция самого классического типа; она основана на установлении факта, и ничьи словесные показания тут не замешаны.

Однако материальные свидетельства – далеко не единственные обладающие привилегией непосредственной доступности. И камень, обточенный ремесленником каменного века, и особенность языка, и включенная в текст правовая норма, и зафиксированный в ритуальной книге или изображенный на стеле обряд – все это реальности, которые мы воспринимаем сами и толкуем с помощью чисто индивидуального умственного усилия. Здесь нет надобности призывать в качестве толмача ум другого. Вернемся к нашему недавнему сравнению: вовсе неверно, будто историк обречен узнавать о том, что делается в его лаборатории, только с чужих слов. Да, он является уже тогда, когда опыт завершен. Но, если условия благоприятствуют, в результате опыта наверняка получится осадок, который вполне можно увидеть собственными глазами.

* * *

Итак, определять бесспорные особенности исторического наблюдения следует другими терминами, менее двусмысленными и более содержательными.

Специфическая его черта в том, что познание всех фактов человеческой жизни в прошлом и большинства из них в настоящем должно быть, по удачному выражению Франсуа Симиана, изучением по следам. Идет ли речь о костях, замурованных в сирийской крепости, или о слове, чья форма или употребление указывают на некий обычай, или о письменном рассказе очевидца какой-либо сценки из давних или новых времен, – что понимаем мы под словом «источник», если не «след», т. е. доступный нашим чувствам знак, оставленный феноменом, который сам по себе для нас недоступен? Не беда, если сам объект по природе своей недоступен для ощущения, как атом, чья траектория становится видимой в трубке Крукса, или если он под воздействием времени только теперь стал недоступным, как папоротник, истлевший за тысячелетия и оставивший отпечаток на куске каменного угля, или же церемонии, давно ушедшие в прошлое, которые изображены и комментированы на стенах египетских храмов. В обоих случаях процесс восстановления одинаков, и все науки дают тому ряд примеров.

Но из того, что многим исследователям во всех науках приходится воспринимать какие-то главные феномены лишь через посредство других, производных, вовсе не следует, что приемы, к которым они прибегают, совершенно одинаковы. Одни, как физики, имеют возможность сами провоцировать появление таких следов. Другие, напротив, вынуждены ждать, пока эти следы предоставит им прихотливая игра сил, на которые они не имеют никакого влияния. В том и другом случае положение ученых, очевидно, будет совершенно различным. А как же с наблюдателями фактов человеческих? Тут вступает в свои права проблема датировки.

Кажется очевидным, что сравнительно сложные человеческие факты невозможно воспроизвести или произвольно направлять (к этому, впрочем нам придется еще вернуться). Существует, правда, психологический эксперимент – начиная с самых элементарных измерений ощущений до тончайших интеллектуальных и эмоциональных тестов. Но его, как

правило, применяют только к индивидууму. Коллективная же психология почти не поддается эксперименту. Невозможно – да на это никто бы и не отважился, даже если б мог, – умышленно вызвать панику или взрыв религиозного энтузиазма. Однако, когда изучаемые феномены принадлежат настоящему или совсем недавнему прошлому, наблюдатель, хоть он и не способен заставить их повториться или повлиять на их развитие, не так безоружен по отношению к их следам. Он может буквально вызвать к жизни некоторые из них. А именно – сообщения очевидцев.

5 декабря 1805 г. события Аустерлица были столь же неповторимы, как и сегодня. А если спросить, как действовал во время сражения тот или иной полк? Пожелай Наполеон через несколько часов после прекращения огня осведомиться об этом, ему стоило бы сказать одно слово, и кто-нибудь из офицеров представил бы ему отчет. Неужто никогда не была составлена такого рода реляция, доступная всем или секретная? А те, что были написаны, неужто они затерялись? Напрасно мы будем задавать этот вопрос – он, скорее всего, останется без ответа, как и многие другие, гораздо более важные. Кто из историков не мечтал о возможности, подобно Улиссу, накормить тени кровью, чтобы они заговорили? Но чудеса «некви» теперь уже не в моде, и у нас нет другой машины времени, чем та, что работает в нашем мозгу на сырье, доставляемом прошлыми поколениями.

Без сомнения, не следует преувеличивать и преимущества изучения настоящего. Вообразим, что все офицеры, все солдаты полка погибли, или, еще проще, что среди уцелевших не нашлось очевидца, чья память и внимательность были бы достойны доверия. Наполеон тогда оказался бы не в лучшем положении, чем мы. Всякий, кто являлся участником, пусть самым скромным, какого-нибудь крупного события, хорошо это знает; случается, что важнейший эпизод невозможно восстановить уже спустя несколько часов. Прибавьте, что не все следы одинаково поддаются последующему воспроизведению. Если по халатности таможи не регистрировали ежедневно в течение ноября 1942 г. ввоз и вывоз товаров, у меня в декабре практически нет данных для оценки объема внешней торговли за прошедший месяц. Короче, между исследованием далекого и исследованием совсем близкого различие опять-таки лишь в степени. Оно не затрагивает основы методов. Но из-за этого оно не становится менее существенным, и мы должны сделать отсюда надлежащие выводы.

Прошное, по определению, есть некая данность, которую уже ничто не властно изменить. Но изучение прошлого развивается, непрестанно преобразуется и совершенствуется. Кто в этом усомнится, пусть вспомнит, что произошло в течение немногим больше века на наших глазах. Огромные массивы человечества вышли из мглы. Египет и Халдея сбросили свои саваны. Изучение мертвых городов Центральной Азии позволило нам узнать языки, на которых уже никто не умел разговаривать, и религии, давным-давно угасшие. На берегах Инда поднялась из могилы неведомая цивилизация. Работа идет, изобретательные исследователи, все усердней роющиеся в библиотеках, копающие в древних землях все новые траншеи, не одиноки в своем труде, и, возможно, это еще не самый эффективный способ обогатить наше представление о временах минувших.

Возникли приемы исследования, прежде неизвестные. Мы теперь умеем лучше, чем наши предшественники, искать в языках ответы о нравах и в орудиях труда – о самих тружениках. А главное, мы научились глубже анализировать социальные явления. Изучение верований и народных обрядов делает только первые шаги. История экономики, о которой Курно, перечисляя различные аспекты исторического исследования, и понятия еще не имел, только начинает складываться. Все это несомненно. Все это открывает нам более обширные перспективы. Но не безграничные. Нам отказано в надежде на действительно беспредельное развитие, которое внушает наука вроде химии, способной даже создать свой собственный объект. Дело в том, что разведчики прошлого – люди не вполне свободные. Их тиран – прошлое. Оно запрещает им узнавать о нем что-либо, кроме того, что оно само, намеренно или ненамеренно, им

открывает. Мы никогда не сумеем дать статистику цен в меровингскую эпоху, так как ни один документ не отразил эти цены с достаточной полнотой. Мы также никогда не проникнем в образ мыслей людей Европы XI в. в такой же мере, как в мышление современников Паскаля или Вольтера; ведь от тех не сохранилось ни частных писем, ни исповедей, и лишь о некоторых из них мы знаем по плохим стилизованным биографиям. Из-за этого пробела немалая часть нашей истории неизбежно принимает несколько безжизненный облик истории мира без индивидуумов.

Но не будем чрезмерно сетовать. В подчинении неумолимой судьбе нам, бедным адептам истории, часто высмеиваемым новейшими науками о человеке, досталась не худшая доля, чем многим нашим собратьям, которые посвятили себя дисциплинам более старым и более уверенным в себе. Такова общая участь всех исследований, чья миссия вникать в явления завершённые. Я полагаю, что исследователь доисторических времен столь же неспособен из-за отсутствия письменных данных восстановить религиозные обряды каменного века, как и палеонтолог – железы внутренней секреции плезиозавра, от которого сохранился лишь скелет. Всегда неприятно сказать: «я не знаю», «я не могу узнать». Но говорить об этом надо только после самых энергичных, отчаянных розысков. Бывают, однако, моменты, когда настоящий долг ученого велит, испробовав все, примириться со своим незнанием и честно в нем признаться.

2. Свидетельства

«Здесь Геродот из Фурий излагает то, что ему удалось узнать, дабы дела человеческие не были повергнуты временем в забвение и дабы великие, дивные деяния, совершенные как эллинами, так и варварами, не утратили своей славы». Так начинается самая древняя книга истории – я разумею в Западном мире, – дошедшая до нас не в виде фрагментов. Поставим, например, рядом с нею один из путеводителей по загробному миру, которые египтяне времен фараонов вкладывали в гробницы. Перед нами окажутся два основных типа, которые можно выделить в бесконечно разнообразной массе источников, предоставленных прошлым в распоряжение историков. Свидетельства первого типа – намеренные. Другие – ненамеренные.

В самом деле, когда мы, чтобы получить какие-нибудь сведения, читаем Геродота или Фруассара, «Мемуары» маршала Жоффра или крайне противоречивые сводки, которые печатаются в теперешних немецких и английских газетах о нападении на морской конвой в Средиземном море, разве мы не поступаем именно так, как того ожидали от нас авторы этих писаний? Напротив, формулы папирусов мертвых были предназначены лишь для того, чтобы их читала находящаяся в опасности душа и слушали одни боги. Житель свайных построек, который бросал кухонные объедки в соседнее озеро, где их ныне перебирает археолог, хотел всего лишь очистить свою хижину от мусора; папская булла об освобождении от налогов хранилась так тщательно в сундуках монастыря только для того, чтобы в нужный момент ею можно было потрясти перед глазами назойливого епископа. Во всех этих случаях забота о создании определенного мнения у современников или у будущих историков не играла никакой роли, и когда медиевист в «благословенном» 1942 г. листает в архивах коммерческую корреспонденцию Ченами, он совершает нескромность, которую Ченами наших дней, застигнув его за чтением их деловой корреспонденции, осудили бы весьма сурово.

Повествовательные источники – употребим здесь это несколько причудливое, но освященное обычаем выражение, т. е. рассказы, сознательно предназначенные для осведомления читателей, не перестали, разумеется, оказывать ученым ценную помощь. Одно из их преимуществ – обычно только они и дают хронологическую последовательность, пусть и не очень точную. Чего бы ни отдал исследователь доисторических времен или историк Индии за то, чтобы располагать своим Геродотом? Однако историческое исследование в своем развитии явно пришло к тому, чтобы все больше доверять второй категории свидетельств – свидетелям невольным. Сравните римскую историю, как ее излагал Роллен или даже Нибур, с той, которую открывает нашему взору любой нынешний научный очерк: первая черпала наиболее очевидные факты из Тита Ливия, Светония или Флора, вторая в большой мере строится на основании надписей, папирусов, монет. Только этим путем удалось восстановить целые куски прошлого: весь доисторический период, почти всю историю экономики, всю историю социальных структур. Даже теперь кто из нас не предпочел бы держать в руках вместо всех газет 1938 или 1939 г. несколько секретных министерских документов, несколько тайных донесений военачальников?

Это не означает, что документы подобного рода более других свободны от ошибок или лжи. Есть сколько угодно фальшивых булл, и деловые письма в целом не более правдивы, чем донесения послов. Но здесь дезинформация, если она и была, по крайней мере не задумана специально для обмана потомства. Указания же, которые прошлое непредумышленно роняет вдоль своего пути, не только позволяют нам пополнить недостаток повествования или проконтролировать его, если его правдивость внушает сомнение: они избавляют наше исследование от опасности более страшной, чем незнание или неточность, – от неизлечимого склероза. В самом деле, без их помощи историк, вздумавший заняться исчезнувшими поколениями, неизбежно попадает в плен к предрассудкам, к ложным предосторожностям, к близорукости, которой

страдали сами эти поколения. Например, медиевист не будет придавать ничтожное значение коммунальному движению только потому, что средневековые писатели не очень-то стремились ознакомить с ним свою публику; не отнесется он пренебрежительно и к великим течениям религиозной жизни, хотя они занимают в повествовательной литературе своего времени куда меньше места, чем баронские войны. Короче, история – приведем излюбленную антитезу Мишле – должна быть все более и более отважной исследовательницей ушедших эпох, а не вечной и неразвивающейся воспитанницей их «хроник».

Впрочем, даже в явно намеренных свидетельствах наше внимание сейчас преимущественно привлекает уже не то, что сказано в тексте умышленно. Мы гораздо охотнее хватаемся за то, что автор дает нам понять, сам того не желая. Что для нас поучительнее всего у Сен-Симона? Его нередко искаженные сообщения о событиях того времени? Или же удивительно яркий свет, проливаемый «Мемуарами», на образ мыслей вельможи при дворе «короля-солнца»? Среди житий святых раннего Средневековья по меньшей мере три четверти не дают нам никаких серьезных сведений о благочестивых личностях, чью жизнь они должны изобразить. Но поищем там указаний на особый образ жизни или мышления в эпоху, когда они были написаны, на то, что агиограф отнюдь не собирался нам сообщать, и эти жития станут для нас неоценимыми. При нашей неизбежной подчиненности прошлому мы пользуемся по крайней мере одной льготой: хотя мы обречены знакомиться с ним лишь по его следам, нам все же удастся узнать о нем значительно больше, чем ему угодно было нам открыть. Если браться за дело с умом, это великая победа понимания над данностью.

* * *

Но как только мы откажемся просто протоколировать слова наших свидетелей, как только вознамеримся сами заставить их говорить, пусть против их воли, нам, более чем когда бы то ни было, необходимо составить вопросник. Это поистине первая неотложная задача всякого правильно ведущегося исторического изыскания.

Многие люди, и среди них, кажется, даже некоторые авторы учебников, представляют себе ход нашей работы до странности наивно. Вначале, мол, есть источники. Историк их собирает, читает, старается оценить их подлинность и правдивость. После этого, и только после этого, он пускает их в дело. Но беда в том, что ни один историк так не действует. Даже когда ненароком воображает, что действует именно так.

Ибо тексты или археологические находки, внешне даже самые ясные и податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать. Кремневые орудия в наносах Соммы изобиловали как до Буше де Перта, так и потом. Но не было человека, умеющего спрашивать, – и не было доисторических времен. Я, старый медиевист, должен признаться, что для меня нет чтения увлекательней, чем какой-нибудь картулярий. Потому что я примерно знаю, о чем его спрашивать. Зато собрание римских надписей мне мало что говорит. Я умею с грехом пополам их читать, но не опрашивать. Другими словами, всякое историческое изыскание с первых же шагов предполагает, что опрос ведется в определенном направлении. Всегда вначале – пытливы́й дух. Ни в одной науке пассивное наблюдение никогда не было плодотворным. Если допустить, впрочем, что оно вообще возможно.

Да, не будем поддаваться первому впечатлению. Бывает, конечно, что вопросник остается чисто инстинктивным. Но все равно он есть. Ученый может даже не сознавать этого, а между тем вопросы диктуются ему утверждениями или сомнениями, которые записаны у него в мозгу его прошлым опытом, диктуются традицией, обычным здравым смыслом, т. е. – слишком часто – обычными предрассудками. Мы далеко не так восприимчивы, как нам представляется. Нет ничего вредней для начинающего историка, чем советовать ему просто ждать в состоянии без-

действия, пока сам источник не пошлет ему вдохновение. При таком методе многие вполне добросовестные изыскания потерпели неудачу или дали ничтожно мало.

Нам, естественно, необходим этот набор вопросов, чрезвычайно гибкий, способный по пути обрастать множеством новых пунктов, открытый для всех неожиданностей – и все же такой, чтобы он мог сразу же служить магнитом для опилок документа. Исследователь знает, что намеченный при отправлении маршрут не будет выдержан с абсолютной точностью. Но без маршрута ему грозит вечно блуждать наугад.

* * *

Разнообразие исторических свидетельств почти бесконечно. Все, что человек говорит или пишет, все, что он изготавливает, все, к чему он прикасается, может и должно давать о нем сведения. Любопытно, как люди, чуждые нашей работе, плохо представляют себе масштаб ее возможностей. Они все еще придерживаются давно устаревшего мнения о нашей науке, мнения тех времен, когда умели читать только намеренные свидетельства. Упрекая «традиционную историю» в том, что она оставляет в тени «явления значительные» и притом «более чреватые последствиями, более способные изменить будущую жизнь, чем все политические события», Поль Валери приводил как пример «завоевание земного шара» электричеством. Тут мы готовы ему аплодировать. К сожалению, это абсолютно верно: на такую огромную тему не создано еще ни одного серьезного труда. Но когда побуждаемый как бы самим избытком своей строгости к оправданию промаха, который он только что изобличил, Поль Валери добавляет, что подобные явления неизбежно «ускользают» от историка, ибо, продолжает он, «они специально не отражены ни в одном документе», – на этот раз обвинение, перенесенное с ученого на науку, неправильно. Кто поверит, что на предприятиях, дающих электрический ток, нет своих архивов, сводок потребления сырья, карт электрической сети? Историки, скажете вы, до сих пор пренебрегали анализом этих источников. Безусловно, они глубоко неправы, но, может быть, виноваты также не в меру ревнивые хранители столь ценных сокровищ. Наберитесь же терпения. История пока еще не такова, какой должна быть. Но это не основание валить на ту историю, какая может быть создана, бремя ошибок, присущих лишь истории, дурно понятой.

Удивительное разнообразие наших материалов порождает, однако, одну трудность, правда, настолько серьезную, что ее можно причислить к трем-четырем великим парадоксам профессии историка.

Было бы большим заблуждением считать, что каждой исторической проблеме соответствует один-единственный тип источников, применимый именно в этом случае. Напротив, чем больше исследование устремляется к явлениям глубинным, тем скорее можно ждать света от сходящихся в одном фокусе лучей – от свидетельств самого различного рода. Какой историк религии захочет ограничиться перелистыванием теологических трактатов или сборников гимнов? Он хорошо знает: об умерших верованиях и чувствах нарисованные и скульптурные изображения на стенах святилищ, расположение и убранство гробниц скажут ему, пожалуй, не меньше, чем многие сочинения. Наши знания о германских нашествиях основаны не только на чтении хроник и грамот, но в такой же мере на раскопках погребений и на изучении названий местностей. По мере приближения к нашему времени требования, понятно, меняются. Но от этого они не становятся менее настоящими. Неужели нам, чтобы понять современное общество, достаточно погрузиться в чтение парламентских дебатов или министерских документов? Не нужно ли вдобавок уметь истолковать банковский баланс, текст для непосвященного еще более загадочный, чем иероглифы? Может ли историк эпохи, в которой царит машина, примириться с незнанием того, как устроены машины и как они изменяются?

Если почти всякая человеческая проблема требует умения оперировать свидетельствами всевозможных видов, то технические приемы исследования, напротив, неизбежно различа-

ются в зависимости от типа свидетельств. Освоение каждого из них требует немалого времени, полное владение – еще более долгой и постоянной практики. Лишь очень немногие ученые могут похвалиться умением одинаково хорошо читать и критически разбирать средневековую хартию, правильно толковать названия местностей (а это прежде всего – факты языка), безошибочно датировать предметы доисторического, кельтского, галло-романского быта, анализировать растительный покров луга, нивы, пустоши. Но без всего этого можно ли описать историю заселения какой-нибудь местности? Мне кажется, мало найдется наук, которым приходится пользоваться одновременно таким огромным количеством разнородных орудий. Причина в том, что человеческие факты – самые сложные. Ибо человек – наивысшее создание природы.

Историку полезно и, на мой взгляд, необходимо владеть, пусть в минимальной степени, основными приемами его профессии. Хотя бы для того, чтобы уметь заранее оценить надежность орудия и трудности в обращении с ним. Перечень «вспомогательных дисциплин», рекомендуемых начинающим, слишком краток. По какой абсурдной логике людям, которые добрую половину времени обучения могут знакомиться с предметом своих занятий лишь через посредство слов, позволяют, наряду с прочими пробелами, не знать основных достижений лингвистики?

Однако какими бы разнообразными познаниями мы ни стремились наделить наиболее вооруженных исследователей, они всегда – и, как правило, очень скоро – доходят до определенного предела. И тут уж нет иного выхода, кроме как заменить многообразную эрудицию одного человека совокупностью технических приемов, применяемых разными учеными, но направленных на освещение одной темы. Этот метод предполагает готовность к коллективному труду. Он также требует предварительного определения, по общему уговору, нескольких крупных ведущих проблем. До такого отрадного положения нам еще очень далеко. Но будем верить, что оно наступит и в значительной мере станет определяющим для будущего нашей науки.

3. Передача свидетельств

Одна из самых трудных задач для историка – собрать документы, которые, как он полагает, ему понадобятся. Он может это сделать лишь с помощью различных путеводителей: инвентарей архивов или библиотек, музейных каталогов, библиографических списков всякого рода. Порой встречаешь таких верхоглядов, удивляющихся тому, что на подобную работу тратится столько времени как создающими их учеными, так и другими серьезными работниками, которые ими пользуются. Но разве часы, затраченные на такое дело, хоть и не лишенное тайной прелести, но уж безусловно не окруженное романтическим ореолом, не избавляют в конечном счете от самого дикого расточительства энергии? Если я увлекаюсь историей культа святых, но, допустим, не знаю *Bibliotheca Hagiographica Latina*¹² отцов-болландистов, то неспециалисту трудно представить, скольких усилий, до нелепого бесплодных, будет мне стоить этот пробел в научном багаже. Если уж действительно о чем-то жалеть, так не о том, что мы можем поставить на полки наших библиотек изрядное количество этих пособий (перечисление которых по отраслям дается в специальных указателях), а о том, что их пока еще недостаточно, особенно для эпох менее далеких; что их создание, особенно во Франции, лишь в исключительных случаях ведется по разумно намеченному комплексному плану; что их публикация, наконец, слишком часто зависит от каприза отдельных лиц или от скупости плохо информированных издательских фирм. Первый том замечательных «Источников по истории Франции», которым мы обязаны Эмилю Молинье, не был переиздан со времен первой публикации в 1901 г. Этот простой факт стоит целого обвинительного акта. Конечно, не орудие создает науку. Но общество, хвастающееся своим уважением к наукам, не должно быть равнодушно к их орудиям. И, наверно, было бы разумно с его стороны не слишком полагаться на академические заведения, условия приема в которые, благоприятные для людей преклонного возраста и послушных учеников, не очень-то способствуют развитию предприимчивости. Да у нас не только Военная школа и штабы сохранили в век автомобиля мышления времен запряженной волами телеги.

Впрочем, вехи-указатели, даже превосходно сделанные, мало чем помогут исследователю, у которого нет заранее представления о территории, где ему придется вести разведку. Вопреки тому, что, кажется, иногда думают начинающие, источники отнюдь не появляются по таинственному велению свыше. Их наличие или отсутствие в таком-то архивном фонде, в такой-то библиотеке, в такой-то почве зависит от причин, связанных с человеком и превосходно поддающихся анализу, а проблемы, возникающие в связи с перемещением этих памятников, – отнюдь не просто упражнение в технике исследования: сами по себе они затрагивают интимные аспекты жизни прошлого, ибо речь идет о передаче воспоминаний через эстафету поколений. В начале серьезных исторических трудов автор обычно дает список шифров архивных материалов, которые он изучил, изданий источников, которыми пользовался. Это превосходно – но недостаточно. Всякая книга по истории, достойная этого названия, должна была бы содержать главу или, если угодно, ряд параграфов, включенных в самые важные места и озаглавленных примерно так: «Каким образом я смог узнать то, о чем буду говорить?» Уверен, что, ознакомившись с такими признаниями, даже читатели-неспециалисты испытают истинное интеллектуальное наслаждение. Зрелище поисков с их успехами и неудачами редко бывает скучным. Холодом и скукой веет от готового, завершенного.

¹² Латинская агиографическая библиотека.

* * *

Меня иногда посещают работники, желающие написать историю своей деревни. Как правило, я говорю им следующее (только чуть попроще – чтобы избежать неуместной в данном случае учености): «Крестьянские общины лишь изредка и довольно поздно заводили свои архивы. Сеньории же, напротив, будучи сравнительно хорошо организованными и преемственными учреждениями, обычно сохраняли свою документацию с давних пор. Для любого периода до 1789 г., а в особенности для более давних эпох, основные документы, на которые вы можете рассчитывать, будут почерпнуты из сеньориальных фондов. Отсюда в свою очередь следует, что первый вопрос, на который вам придется ответить и от которого почти все будет зависеть, окажется таким: «Кто был в 1789 г. сеньором вашей деревни?» (Конечно, наличие одновременно нескольких владельцев, между которыми разделена деревня, тоже вполне вероятно, но для краткости мы эту возможность рассматривать не будем.)

Допустимы три варианта. Сеньория могла принадлежать либо церкви, либо светскому лицу, эмигрировавшему во время революции, либо опять-таки светскому лицу, но не эмигранту. Первый случай наиболее благоприятен для нас. Архив, вероятно, не только сохранялся лучше и охватывал больший срок; он наверняка после 1790 г. был конфискован одновременно с земельными владениями, как то следовало в соответствии с Гражданским устройством духовенства. Если он затем был помещен в какое-либо общественное хранилище, мы вправе надеяться, что и ныне он находится там в целостности и сохранности и доступен для ученых. Гипотезе с эмигрантом также можно поставить довольно высокий балл. В этом случае архив также был изъят и перемещен, правда, есть опасность, что его намеренно уничтожили как напоминание о проклятом старом режиме. Остается последняя возможность. Она была бы крайне нежелательна. «Бывшие люди», если они не покидали Францию и не попадали каким-то иным образом под удар законов Комитета общественного спасения, не терпели никакого имущественного ущерба. Они, конечно, утрачивали свои сеньориальные права, поскольку те были вообще отменены. Но они сохраняли личную собственность, а следовательно, и деловые документы. Если эти документы, которые мы должны разыскать, никогда не были затребованы государством, то они попросту разделили общую в XIX и XX вв. участь всех фамильных бумаг. Если они не затерялись, не были съедены крысами, не рассеялись вследствие продаж и наследований по чердакам трех-четырех сельских домов, все равно ничто не заставит нынешнего их владельца предоставить их вам».

Я привел этот пример, потому что он мне кажется очень типичным для условий, часто определяющих и ограничивающих доступную для нас документацию. Небезынтересно более детально проанализировать вытекающий отсюда урок.

Роль, которую, как мы видели, сыграли революционные конфискации, – это роль божества, нередко покровительствующего исследователю, божества по имени Катастрофа. Бесчисленные римские муниципии превратились в заурядные итальянские городишки, где археолог с трудом отыскивает скудные следы античности; зато извержение Везувия сохранило Помпеи.

Разумеется, далеко не всегда великие бедствия человечества служили истории. Вместе с горами литературных и историографических рукописей погибли в смутах нашествий бесценные досье римской императорской бюрократии. На наших глазах две мировые войны уничтожили на овечьей славы земле многие памятники и архивы. Мы уже никогда не сможем перелистать письма старых купцов Ипра, и я сам видел, как во время отступления сожгли книгу приказов целой армии.

Впрочем, и мирная гладь социальной жизни без вспышек лихорадки оказывается гораздо менее благоприятной, чем можно думать, для передачи воспоминаний. Революции взламывают дверцы сейфов и заставляют министров бежать, не дав им времени сжечь свои секрет-

ные бумаги. В старых архивах юридических контор дела банкротов содержат доступные для нас документы предприятий, владельцы которых, если б им посчастливилось плодотворно и почетно продолжать свое дело до наших дней, ни за что не согласились бы отдать на всеобщее обозрение содержимое своих папок. Благодаря удивительной преемственности монастырских учреждений аббатство Сен-Дени еще в 1789 г. сохраняло дипломы, пожалованные ему меровингскими королями более тысячи лет назад. Но читаем мы их теперь в Национальном архиве. А если бы аббатство Сен-Дени пережило Революцию, можно ли быть уверенным, что монахи позволили бы рыться в их сундуках? Наверно, не более, чем ожидать, что «Общество Иисуса» откроет непосвященным доступ к своим документам, без знания которых столько проблем новой истории всегда останутся безнадежно темными, или что французский банк пригласит специалистов по истории Первой империи исследовать его реестры, даже самые запыленные, – настолько дух замкнутости присущ всякой корпорации. Вот где историк настоящего оказывается в незавидном положении – он почти начисто лишен этих невольных признаний. Правда, взамен он узнает всякие толки, которые нашептывают ему на ухо друзья. Но такая информация, увы, мало чем отличается от досужих сплетен. Зачастую хороший катаклизм куда лучше помогает нашему делу.

Так будет, во всяком случае, до тех пор, пока общество не перестанет возлагать на переживаемые им бедствия заботу о сохранности документов и не согласится наконец разумно организовать и свою память, и познание самого себя. Это ему удастся лишь в тяжелой борьбе с двумя главными виновниками забвения и невежества: с небрежностью, которая теряет документы, и, что еще более опасно, со страстью к тайнам (дипломатическим, деловым, семейным), которая прячет документы или их уничтожает. Естественно, что нотариус обязан не разглашать деловые операции своего клиента. Но когда ему разрешается окружать такой же непроницаемой тайной контракты, заключавшиеся клиентами его прадедушки (меж тем как ему все-речь ничто не грозит, если бумаги эти у него истлеют), наши законы в этой области поистине отдают плесенью. Что касается мотивов, побуждающих большинство крупных предприятий отказаться от публикации статистических данных, столь необходимых для разумного ведения национальной экономики, то мотивы эти очень редко бывают достойны уважения. Наша цивилизация сделает огромный шаг вперед в тот день, когда скрытность, возведенная в принцип поведения и почти в буржуазную добродетель, уступит место желанию сообщать о себе, т. е. обмениваться такими сообщениями.

Вернемся, однако, к нашей деревне. Обстоятельства, которые в данном конкретном случае являются решающими для утраты или сохранности, для доступности или недоступности свидетельств, порождаются историческими силами общего характера. В них нет ни одной черты, которую нельзя было бы понять, но в них начисто отсутствует какая-либо логическая связь с предметом наших розысков, судьба которого зависит от них. В самом деле, почему, например, изучение жизни маленькой крестьянской общины в Средние века должно быть более или менее полным в зависимости от того, вздумалось ли несколько веков спустя ее владельцу украсить своим присутствием сборища в Кобленце? Такое несоответствие встречается слишком часто. Если мы знаем римский Египет бесконечно лучше, чем Галлию того же времени, то причина тут не в том, что египтяне интересуют нас больше, чем галло-римляне, – просто в Египте сухой климат, пески и погребальные ритуалы, связанные с бальзамированием, сохранили рукописи, тогда как климат Запада и его обычаи, напротив, способствовали их быстрому истлеванию. Между причинами успеха или неудачи в нашей погоне за документами, и мотивами, вызывающими наш интерес к этим документам, обычно нет ничего общего; таков иррациональный и никак не устранимый элемент, придающий нашим изысканиям внутренний трагизм, в котором, возможно, столь многие создания духа находят не только собственные границы, но и одну из тайных причин своей гибели.

В приведенном примере судьба документов в той или иной деревне оказывается решающим фактом, который хотя бы можно предусмотреть. Но так бывает не всегда. Порой конечный результат поисков зависит от такого множества каузальных цепочек, одна от другой совершенно независимых, что почти всякое предвидение оказывается невозможным. Я знаю, что четыре пожара, а затем разграбление опустошили архивы древнего аббатства Сен-Бенуа-сюр-Луар. Могу ли я, приступая к изучению его фондов, заранее угадать, какие типы источников пощадили эти катастрофы? То, что называют миграцией рукописей, представляет собой чрезвычайно интересный предмет изучения: странствия литературного произведения по библиотекам, снятие копий, аккуратность или небрежность библиотекарей и копиистов – все это явления, в которых живо отражаются судьбы культуры и прихотливая игра ее великих течений. Но мог ли самый знающий эрудит заявить с уверенностью, до обнаружения этого факта, что единственная рукопись «Германии» Тацита окажется в XVI в. в монастыре Герсфельд? Короче, всякие поиски документов таят в себе долю неожиданности и, следовательно, риска. Один коллега, мой близкий друг, рассказывал мне, что в Дюнкерке, когда он на побережье, подвергавшемся бомбежке, ожидал вместе с другими погрузки на суда, не выказывая особого нетерпения, кто-то из товарищей с удивлением заметил: «Странно, у вас такой вид, словно опасность вас не пугает!» Мой друг мог бы ответить, что, вопреки обычному предрассудку, привычка к научным поискам вовсе не так неблагоприятна для спокойного принятия пари с судьбой.

Выше мы спросили себя, существует ли между познанием прошлого и настоящего противоположность в технических приемах. На это был дан ответ. Конечно, исследователь современности и исследователь далеких эпох обращаются с орудиями каждый по-своему. И каждый имеет определенные преимущества. Первый соприкасается с жизнью непосредственно, второй в своих изысканиях располагает средствами, иногда недоступными для первого. Так, вскрытие трупа, открывая биологу немало тайн, которых он не узнал бы при изучении живого тела, умалчивает о многих других тайнах, которые может обнаружить только живой организм. Но к какому бы веку человечества ни обращался исследователь, методы наблюдения, почти всегда имеющие дело со следами, остаются в основном одинаковыми. В этом с ними сходны, как мы увидим дальше, и правила критики, которым должно подчиняться наблюдение, чтобы быть плодотворным.

Глава третья

Критика

1. Очерк истории критического метода

Даже самые наивные полицейские прекрасно знают, что свидетелям нельзя верить на слово. Но если всегда исходить из этого общего соображения, можно вовсе не добиться никакого толку. Давно уже догадались, что нельзя безоговорочно принимать все исторические свидетельства. Опыт, почти столь же давний, как и само человечество, научил: немало текстов содержат указания, что они написаны в другую эпоху и в другом месте, чем это было на самом деле; не все рассказы правдивы, и даже материальные свидетельства могут быть подделаны. В Средние века, когда изобиловали фальшивки, сомнение часто являлось естественным защитным рефлексом. «Имея чернила, кто угодно может написать что угодно», – восклицал в XI в. лотарингский дворянчик, затеявший тяжбу с монахами, которые пустили в ход документальные свидетельства. Константинов дар – это поразительное измышление римского клирика VIII в., подписанное именем первого христианского императора, – был три века спустя оспорен при дворе благочестивейшего императора Оттона III. Поддельные мощи начали изымать почти с тех самых пор, как появился культ мощей.

Однако принципиальный скептицизм – отнюдь не более достойная и плодотворная интеллектуальная позиция, чем доверчивость, с которой он, впрочем, легко сочетается в не слишком развитых умах. Во время Первой мировой войны я был знаком с одним бравым ветеринаром, который систематически отказывался верить газетным новостям. Но если случайный знакомый сообщал ему самые нелепые слухи, он прямо-таки жадно глотал их.

Точно так же критика с позиций простого здравого смысла, которая одна только и изменялась издавна и порой еще соблазняет иные умы, не могла увести далеко. В самом деле, что такое в большинстве случаев этот пресловутый здравый смысл? Всего лишь мешанина из необоснованных постулатов и поспешно обобщенных данных опыта. Возьмем мир физических явлений. Здравый смысл отрицал антиподов. Он отрицает эйнштейновскую вселенную. Он расценивал как басню рассказ Геродота о том, что, огибая Африку, мореплаватели в один прекрасный день увидели, как точка, в которой восходит солнце, перемещалась с правой стороны от них на левую. Когда же идет речь о делах человеческих, то хуже всего то, что наблюдения, возведенные в ранг вечных истин, неизбежно берутся из очень краткого периода, а именно – нашего. В этом – главный порок вольтеровской критики, впрочем, часто весьма проницательной. Не только индивидуальные странности встречаются во все времена, но и многие некогда обычные душевные состояния кажутся нам странными, потому что мы их уже не разделяем. «Здравый смысл» как будто должен отрицать, что император Оттон I мог подписать в пользу пап акт, содержавший неосуществимые территориальные уступки, поскольку он противоречил прежним актам Оттона I, а последующие с ним никак не согласовывались. И все же надо полагать, что ум у императора был устроен не совсем так, как у нас, – точнее, что в его время между тем, что пишется, и тем, что делается, допускали такую дистанцию, которая нас поражает: ведь пожалованная им привилегия бесспорно подлинная.

Настоящий прогресс начался с того дня, когда сомнение стало, по выражению Вольнея, «испытующим»; другими словами, когда были постепенно выработаны объективные правила, позволявшие отделять ложь и правду. Иезуит Папebroх, которому чтение «житий святых» внушило величайшее недоверие ко всему наследию раннего Средневековья, считал поддельными все меровингские дипломы, хранившиеся в монастырях. Нет, ответил ему Мабильон, хотя бес-

спорно есть дипломы, целиком сфабрикованные, подправленные или интерполированные. Но существуют и дипломы подлинные и их можно отличить. Таким образом, 1681-й – год публикации «De Re Diplomatica»¹³ – поистине великая дата в истории человеческого разума: наконец-то возникла критика архивных документов.

Впрочем, и во всех других отношениях это был решающий момент в истории критического метода. У гуманизма предшествующего столетия были свои попытки, свои озарения. Дальше он не пошел. Что может быть характерней, чем пассаж из «Опытов», где Монтень оправдывает Тацита в том, что тот повествует о чудесах. Дело теологов и философов, говорит он, спорить о «всеобщих верованиях», историкам же надлежит лишь «излагать» их в точном соответствии с источниками. «Пусть они передают нам историю в том виде, в каком ее получают, а не так, как они ее оценивают». Иначе говоря, философская критика, опирающаяся на концепцию естественного или божественного толкования, вполне законна. Из остального текста ясно, что Монтень отнюдь не расположен верить в чудеса Веспасиана, как и во многие другие. Но, делая чисто исторический разбор свидетельства как такового, он, видимо, еще не вполне понимает, как этим методом пользоваться. Принципы научного исследования были выработаны лишь в течение XVII в., чье истинное величие связывают не всегда с тем периодом, с каким следует, а именно, со второй его половиной.

Сами люди того времени сознавали его значение. Между 1680 и 1690 гг. изобличение «пирронизма в истории» как преходящей моды было общим местом. «Говорят, – пишет Мишель Левассер, комментируя это выражение, – что сущность ума состоит в том, чтобы не верить всему подряд и уметь многократно сомневаться». Само слово «критика», прежде означавшее лишь суждение вкуса, приобретает новый смысл проверки правдивости. Вначале его употребляют в этом смысле лишь с оговорками. Ибо «оно не вполне в хорошем вкусе», т. е. в нем есть какой-то технический привкус. Однако новый смысл постепенно приобретает силу. Боссюэ сознательно от него отстраняется. Когда он говорит о «наших писателях-критиках», чувствуется, что он пожимает плечами. Но Ришар Симон вставляет слово «критика» в названия почти всех своих работ. Самые проникательные, впрочем, оценивают его безошибочно. Да, это словно возвещает открытие метода чуть ли не универсальной пригодности. Критика – это «некий факел, который нам светит и ведет нас по темным дорогам древности, помогая отличить истинное от ложного». Так говорит Элли дю Пэн. А Бейль формулирует еще более четко: «Г-н Симон применил в своем новом «Ответе» ряд правил критики, которые могут служить не только для понимания Писания, но и для плодотворного чтения многих других сочинений».

Сопоставим несколько дат рождения: Папebroх (который, хоть и ошибся в отношении хартий, заслуживает места в первом ряду среди основоположников критики в отношении историографии) родился в 1628 г.; Мабильон – в 1632 г.; Ришар Симон (чьи работы положили начало библейской экзегезе) – в 1638 г. Прибавьте, помимо этой когорты эрудитов в собственном смысле слова, Спинозу (Спинозу «Богословско-политического трактата», этого подлинного шедевра филологической и исторической критики), который родился также в 1632 г. Это было буквально одно поколение, контуры которого вырисовываются перед нами с удивительной четкостью. Но надо их еще больше уточнить: это поколение, появившееся на свет к моменту выхода «Рассуждения о методе».

Мы не скажем: поколение картезианцев. Мабильон, если уж говорить именно о нем, был благочестивым монахом, ортодоксально простодушным, оставившим нам в качестве последнего сочинения трактат о «Христианской смерти». Вряд ли он был хорошо знаком с новой философией, в те времена столь подозрительной для многих набожных людей. Более того, если до него случайно и дошли кое-какие ее отзвуки, вряд ли он нашел в ней так уж много

¹³ «О дипломатике» (лат.).

мыслей, достойных одобрения. С другой стороны, – вопреки тому, что пытаются внушить нам несколько страниц Клода Бернара, не в меру, быть может, знаменитых, очевидные истины математического характера, к которым, по Декарту, методическое сомнение должно проложить дорогу, имеют мало общих черт со все более приближающимися к истине гипотезами, уточнением которых, подобно лабораторным наукам, довольствуется историческая критика. Но для того, чтобы какая-либо философия наложила отпечаток на целый период, ее воздействие вовсе не должно соответствовать ее букве, и большинство умов могут подвергаться ее влиянию как бы посредством часто полубессознательного осмоса. Подобно картезианской «науке», критика исторического свидетельства ставит на место веры «чистую доску». Как и картезианская наука, она неумолимо сокрушает древние устои лишь для того, чтобы таким путем прийти к новым утверждениям (или к великим гипотезам), но уже надлежащим образом проверенным. Иными словами, вдохновляющая ее идея – почти полный переворот в старых концепциях сомнения. То ли их язвительность казалась чем-то болезненным, то ли в них, напротив, находили какую-то благородную усладу, но эту критику прежде рассматривали как позицию чисто негативную, как простое отсутствие чего-либо. Отныне же полагают, что при разумном обращении она может стать орудием познания. Появление данной идеи можно датировать в истории мысли очень точно.

С тех пор основные правила критического метода были в общем сформулированы. Их универсальную значимость сознавали так хорошо, что в XVIII в. среди тем, чаще всего предлагавшихся Парижским университетом на конкурсе философских работ, мы видим тему, звучащую до странности современно: «О свидетельствах людей по поводу исторических фактов». Разумеется, последующие поколения внесли в это орудие много усовершенствований. А главное, они сделали его гораздо более обобщающим и значительно расширили сферу его приложения.

* * *

Долгое время технические приемы критики употреблялись – я имею в виду последовательно – почти исключительно кучкой ученых, экзегетов и любителей. Писатели, создавшие широкие исторические полотна, не стремились поближе познакомиться с этими лабораторными предписаниями, на их взгляд слишком мелочными, и почти не желали знать о результатах такой работы. Но, как говорил Гумбольдт, нет ничего хорошего в том, что химики «боятся замочить руки». Для истории опасность подобного расхождения между подготовкой и свершением – двоякая. Прежде всего, и очень жестоко, страдают крупные работы, интерпретирующие историю. Авторы их не только нарушают первостепенный долг – терпеливо искать истину; лишены тех постоянно возникающих неожиданностей, которые доставляет только борьба с источником, они, вдобавок, не могут избежать непрерывного колебания между несколькими навязанными рутиной стереотипами. Но и техническая работа страдает не меньше. Без высшего руководства она рискует погрязнуть на неопределенный срок в проблемах незначительных или даже неверно поставленных. Нет худшего расточительства, чем растрачиваемая впустую эрудиция, нет более неуместной гордыни, чем самодовольство орудия, считающего себя целью.

Против этих опасностей отважно боролось сознание XIX в. Немецкая школа, Ренан, Фюстель де Куланж вернули исторической эрудиции ее интеллектуальную высоту. Историк был возвращен к верстаку. Но окончательно ли выиграна игра? Утверждать это было бы чрезмерным оптимизмом. Слишком часто исследование все еще ведется как попало без разумного выбора точек приложения. Главное же – потребность в критике еще полностью не овладела умами «честных людей» (в старом смысле этих слов), чье признание, нужное, конечно, для моральной гигиены всякой науки, особенно необходимо в нашей. Ведь предмет нашего изуче-

ния – люди, и если люди не будут нас понимать, не возникнет ли у нас чувство, что мы выполнили свою миссию лишь наполовину?

Впрочем, мы, возможно, и в самом деле выполнили ее не до конца. Отпугивающая таинственная замкнутость, в которой иногда пребывают лучшие из нас; преобладание в нашей популярной литературной продукции унылого учебника, где навязчиво царит дух школярского обучения вместо настоящего синтеза; странная стыдливость, мешающая нам, когда мы выходим из своих кабинетов, показать непосвященным благородные пробы наших методов – все эти дурные привычки, порожденные скопищем противоречивых предрассудков, вредят, несомненно, благому делу. Все они сообща толкают беззащитную массу читателей к фальшивым брильянтам мнимой истории, где отсутствие серьезности, пестрота мишуры, политические пристрастия дополняются нескромной уверенностью: Моррас, Банвиль или Плеханов категоричны там, где Фюстель де Куланж или Пиренн высказали бы сомнение. Бесспорно существует противоречие между историческим исследованием, каково оно есть или каким стремится стать, и читающей публикой. Как пример забавных доводов, к которым прибегают стороны, приведем великий и весьма показательный спор о примечаниях.

Нижние поля страниц вызывают у многих эрудитов нечто вроде головокружения. Конечно, нелепо заполнять, как они обычно делают, эти белые полосы библиографическими ссылками, которых в большинстве случаев можно избежать, поместив в книге указатель; еще хуже втискивать туда длинные рассуждения, место которых прямо указано в основном тексте. Таким образом, самое полезное, что есть в этих трудах, часто приходится искать в подвале. Но когда некоторые читатели жалуются, что от любой строчки, одиноко чернеющей под текстом, у них туманятся мозги, когда некоторые издатели заявляют, что для их клиентов – конечно, отнюдь не таких сверхчувствительных, как они изображают, – сущая пытка глядеть на такую обезображенную страницу, эти неженки доказывают лишь свою неспособность понять даже элементарные правила научной этики. Ибо, не беря в расчет свободную игру фантазии, утверждение не имеет права появляться в тексте, если его нельзя проверить; и для историка, приводящего какой-то документ, указание на то, где его скорее всего можно найти, равносильно исполнению общеобязательного долга быть честным. Наше общественное мнение, отравленное догмами и мифами, даже когда оно не враждебно просвещению, утратило вкус к контролю. В тот день, когда мы, сперва позаботившись о том, чтобы не отпугнуть праздным педантизмом, сумеем его убедить, что ценность утверждения надо измерять готовностью автора покорно ждать опровержения, силы разума одержат одну из блистательнейших своих побед. Чтобы ее подготовить, и трудятся наши скромные примечания, наши маленькие, мелочные ссылки, над которыми, не понимая их, потешаются нынешние остряки.

* * *

Изучавшиеся первыми эрудитами источники были чаще всего произведениями, либо рекомендовавшими сами себя, либо по традиции – как написанные таким-то автором в такое-то время и в расчете на читателя рассказывавшие о таких-то событиях. Правду ли они говорили? Принадлежат ли книги, называемые Моисеевыми, действительно Моисею, а дипломы, носящие имя Хлодвиги, этому самому Хлодвигу? Достоверно ли рассказанное в Исходе или в житиях святых? Такова была проблема. Но по мере того, как история научилась все больше пользоваться невольными свидетельствами, она уже не ограничивалась оценкой нарочитых утверждений, содержащихся в источниках. Ей пришлось исторгнуть у них сведения, которых они не собирались давать.

Критические правила, выдержавшие испытание в первом случае, оказались не менее эффективными и во втором. Вот передо мной лежит стопка средневековых грамот. Одни датированы, другие – нет. Там, где дата указана, надо ее проверить: опыт учит, что она может быть

ложной. Даты нет? Надо ее установить. В обоих случаях я воспользуюсь одними и теми же средствами. По характеру письма (если это оригинал), по состоянию латыни, по учреждениям, которые там упоминаются, и по общему ходу изложения данный акт, предполагаю я, соответствует легкоотличимому стилю французских нотариусов периода около 1000 г. Если он выдает себя за документ меровингской эпохи, обман, таким образом, разоблачен. Итак, дата примерно установлена. Точно так же археолог, желая классифицировать по эпохам и цивилизациям доисторические орудия или распознать поддельные памятники древности, изучает, сопоставляет, уточняет формы и приемы – по правилам для обоих случаев в сущности своей похожим.

Историк все реже и реже предстает тем ворчливым следователем, чей непривлекательный образ пытаются нам навязать некоторые учебники для первокурсников. Разумеется, он не стал легковерным. Он знает, что свидетели могут ошибаться или лгать. Но прежде всего он старается вынудить их говорить, чтобы он мог их понять. Одна из прекрасных черт критического метода – то, что он сумел, ничего не меняя в основных принципах, направить исследование в более широкое русло.

Было бы, однако, неблагодарностью отрицать за неверным свидетельством его заслугу как стимула, вызвавшего попытки создать технику поисков истины. Кроме того, оно остается тем простейшим случаем, от которого эта техника непременно должна отправляться в своих рассуждениях.

2. Разоблачение лжи и ошибок

Из всех ядов, способных испортить свидетельство, самый вредоносный – это обман.

Он, в свою очередь, может быть двух видов. Прежде всего обман, связанный с автором и датой – фальшивка в юридическом смысле слова. Все письма, опубликованные за подписью Марии-Антуанетты, не были написаны ею; среди них есть сфабрикованные в XIX в. Тиара, проданная в Лувр в качестве скифско-греческого памятника III в. до нашей эры, названная тиарой Сайтоферна, была отчеканена в 1895 г. в Одессе. Кроме того, существует обман в самом содержании. Цезарь в своих «Комментариях», где его авторство нельзя оспаривать, сознательно многое искажил, многое опустил. Статуя, которую показывают в Сен-Дени как изображение Филиппа Смелого, – бесспорно, надгробное изваяние этого короля, исполненное после его смерти, но по всему видно, что скульптор ограничился воспроизведением условной модели и от портрета здесь осталось только имя.

Эти два вида обмана порождают различные проблемы, решение которых не влияет друг на друга.

Большинство письменных документов, подписанных вымышленным именем, лживы также и по содержанию. «Протоколы сионских мудрецов» не только не написаны сионскими мудрецами, но и по существу крайне далеки от истины. Предположим, что мнимый диплом Карла Великого окажется на самом деле документом, сфабрикованным два-три века спустя. Можно держать пари, что великодушные деяния, приписываемые в нем императору, также вымышлены. Однако категорически этого утверждать нельзя. Ибо некоторые акты были изготовлены с единственной целью воспроизвести подлинники, которые были утеряны. В виде исключения фальшивка может говорить правду.

Кажется, не стоило бы упоминать о том, что, напротив, свидетельства, самые бесспорные по происхождению (которое указано в них самих), вовсе не обязательно правдивы. Но ученым, устанавливающим аутентичность источника, приходится так тяжело трудиться, взвешивая его на своих весах, что у них потом не всегда хватает духа оспаривать его утверждения. В частности, сомнение легко отступает перед документами, предстающими под сенью внушительных юридических гарантий: актами публичной власти или частными контрактами, в случае, если последние должным образом заверены. Однако и те и другие не слишком заслуживают почтения. 21 апреля 1834 г., еще до начала процесса тайных обществ, Тьер писал префекту департамента Нижний Рейн: «Предписываю вам приложить все усилия, чтобы обеспечить с вашей стороны наличие документов для начинающегося главного следствия... Важно надлежащим образом выявить корреспонденцию этих анархистов, выяснить тесную связь событий в Париже, Лионе, Страсбурге – одним словом, существование обширного заговора, охватывающего всю Францию». Вот бесспорно хорошо подготовленная официальная документация. Что же до миража, каким морочат нас должным образом припечатанные и датированные грамоты, то достаточно самого скромного житейского опыта, чтобы он рассеялся. Всякому известно, что составленные по всем правилам нотариальные акты полны умышленных неточностей: я вспоминаю, как сам однажды, повинуясь приказу, датировал задним числом свою подпись под протоколом одного из высоких правительственных учреждений. Наши отцы были в этом отношении не более щепетильными. «Составлено такого-то дня в таком-то месте», – читаем мы в конце королевских дипломов. Но загляните в книгу расходов по поездке государя. Вы там не раз обнаружите, что в указанный день он на самом деле находился за несколько лье от того места. Бесчисленные акты освобождения сервов от личной зависимости, в подлинности которых не сомневался ни один здравомыслящий человек, утверждают, что они будто бы продиктованы соображениями чистого милосердия, – мы же можем положить рядом с ними счета по оплате свободы.

* * *

Но недостаточно констатировать обман, надо еще раскрыть его мотивы. Хотя бы для того, чтобы лучше его изобличить. Пока существует сомнение относительно его причин, в нем есть нечто сопротивляющееся анализу, нечто лишь наполовину доказанное. Кроме того, прямая ложь как таковая – тоже своего рода свидетельство. Доказав, что знаменитый диплом Карла Великого, пожалованный церкви в Ахене, подделка, мы избавимся от заблуждения, но не приобретем никаких новых знаний. А вот если удастся установить, что фальшивка была сочинена в окружении Фридриха Барбароссы и целью ее было служить великим имперским мечтам, мы сможем по-новому взглянуть на открывшиеся перед нами обширные исторические горизонты. Так критика приходит к тому, чтобы за обманом искать обманщика, т. е. в соответствии с девизом истории, – человека.

Наивно перечислять бесконечно разнообразные причины, побуждающие лгать. Но историкам, естественно склонным чрезмерно интеллектуализировать человека, полезно помнить, что далеко не все резоны резонны. Случается, что ложь (обычно ей сопутствует комплекс тщеславия и скрытности) становится, по выражению Андре Жида, каким-то «беспричинным актом». Немецкий ученый, который сочинил на отличном греческом языке восточную историю, приписанную им фиктивному Санхониатону, мог бы легко и с меньшими издержками приобрести репутацию солидного эллиниста. Сын члена Института, сам впоследствии заседавший в этом почтенном учреждении, Франсуа Ленорман начал свою карьеру в 17 лет, мистифицировав своего отца мнимым открытием надписей в Ла-Шапель-Сент-Элуа, целиком сделанных его рукою. Когда он был уже стар и осыпан почестями, его последней блестящей проделкой, говорят, было описание как греческих древностей нескольких обычных предметов доисторической эпохи, которые он попросту подобрал на полях Франции.

Мифомания присуща не только отдельным индивидуумам, но и целым эпохам. Такими были к концу XVIII в. и в начале XIX в. поколения предромантиков и романтиков. Псевдокельтские поэмы, приписанные Оссиану; эпopeи и баллады, сочиненные, как утверждал Чаттертон, на древнеанглийском языке, мнимосредневековые стихи Клотильды де Сюрвиль; бретонские песни, придуманные Вильмарке; якобы переведенные с хорватского песни Мериме; героические чешские песни Краледворской рукописи – всего не перечислить. В течение нескольких десятилетий по всей Европе как бы звучала мощная симфония подделок. Средние века, особенно с VIII до XII в., представляют другой пример такой эпидемии. Конечно, большинство подложных дипломов, папских декретов, капитуляриев, фабриковавшихся тогда в огромном количестве, создавались с корыстной целью. Закрепить за какой-нибудь церковью оспариваемое имущество, поддержать авторитет римского престола, защитить монахов от епископа, епископов от архиепископов, папу от светских владык, императора от папы – дальше этого намерения поддельщиков не шли. Но характерная черта – люди безупречной набожности, а часто и добродетели, не брезговали прилагать руку и к подобным фальшивкам. Видимо, это нисколько не оскорбляло общепринятую мораль. Что касается плагиата, то он в те времена считался самым невинным делом: анналист, агиограф без зазрений присваивали себе целые пассажи из сочинений более древних авторов. Однако в обществах этих двух периодов, в остальном весьма различных по своему типу, не было и тени «футуризма». Как в религии, так и в области права Средние века опирались только на уроки, преподанные предками. Романтизм жаждал черпать из живого источника примитивного и народного. Так периоды, особенно приверженные традиции, позволяли себе наиболее свободное обращение со своим прямым наследием. Словно неодолимая потребность творчества, подавляемая почтением к прошлому, брала естественный реванш, заставляя выдумывать это прошлое.

* * *

В июле 1857 г. математик Мишель Шаль передал в Академию наук целую пачку неизданных писем Паскаля, проданных ему постоянным его поставщиком, знаменитым подделывателем Врен-Люкой. Из них явствовало, что автор «Писем к провинциалу» сформулировал еще до Ньютона принцип всемирного тяготения. Один английский ученый выразил удивление. Как объяснить, спрашивал он, что в этих текстах используются астрономические выкладки, произведенные через много лет после смерти Паскаля, о которых сам Ньютон узнал лишь после опубликования первых глав своего труда? Врен-Люка был не из тех, кто станет смущаться из-за такого пустяка. Он снова засел за свой верстак, и вскоре благодаря его стараниям Шаль сумел представить новые автографы. На сей раз они были подписаны Галилеем и адресованы Паскалю. Так загадка была объяснена: знаменитый астроном произвел наблюдения, а Паскаль – вычисления. Оба, мол, действовали втайне от всех. Правда, Паскалю в день смерти Галилея было всего восемнадцать лет. Ну и что? Еще один повод восхищаться ранним расцветом его гения.

Но вот другая странность, заметил неугомонный придира: в одном из этих писем, датированном 1641 г., Галилей жалуется, что пишет с большим трудом, так как у него устают глаза. Между тем разве неизвестно, что уже с конца 1637 г. он совершенно ослеп? Простите, возразил немного спустя наш славный Шаль, я согласен, что до сих пор все верили в эту слепоту. И напрасно. Ибо теперь я, дабы рассеять всеобщее заблуждение, могу предъявить написанный именно в это время и решающий для нашего спора документ. Некий итальянский ученый сообщал Паскалю 2 декабря 1641 г., что как раз в эти дни Галилей, чье зрение несомненно слабело уже ряд лет, потерял его полностью...

Конечно, не все обманщики работали так плодотворно, как Врен-Люка, и не все обманутые обладали простодушием его несчастной жертвы. Но то, что нарушение истины порождает целую цепь лжи, что всякий обман почти неизбежно влечет за собой многие другие, назначение которых, хотя бы внешнее, поддерживать друг друга, – этому учит нас опыт житейский и это подтверждается опытом истории. Вот почему знаменитые фальшивки возникали целыми гроздьями: фальшивые привилегии кентерберийского архиепископства, фальшивые привилегии австрийского герцогства, подписанные многими великими государями от Юлия Цезаря до Фридриха Барбароссы, фальшивка дела Дрейфуса, разветвленная, как генеалогическое древо. Можно подумать (а я привел лишь несколько примеров), что перед нами – бурно разрастающиеся колонии микробов. Обман, по природе своей, рождает обман.

* * *

Существует еще более коварная форма надувательства. Вместо грубой контристины, прямой и, если угодно, откровенной, – потаенная переработка: интерполяция в подлинных грамотах, узоры выдуманных деталей, вышитые на грубовато-правдивом фоне. Интерполяции обычно делаются в корыстных целях. Узорочье лжи – для украшения. Не раз изобличались искажения, которые вносила в античную или средневековую историографию эстетика лжи. Ее влияние, наверно, не намного меньше и в нашей печати. Не слишком заботясь об истине, самый скромный новеллист охотно обрисовывает своих персонажей согласно условиям риторики, престиж которой отнюдь не подорван временем, – у Аристотеля и Квинтилиана куда больше учеников в наших редакциях, чем обычно думают.

Некоторые технические обстоятельства даже как будто благоприятствуют таким искажениям. Когда в 1917 г. был приговорен к смерти шпион Боло, какая-то газета, говорят, поместила 6 апреля отчет о его казни. Действительно, казнь сперва была назначена на это число,

но на самом деле состоялась лишь одиннадцать дней спустя. Журналист, убежденный, что событие произойдет в намеченный день, сочинил «отчет» заранее и счел лишним проверить. Не знаю, насколько достоверен этот анекдот. Такие грубые ляпсусы, конечно, исключение. Но легко допустить, что для быстроты – ведь главное представить материал вовремя – репортажи об ожидающихся событиях иногда сочиняются заранее. Можно сказать с уверенностью, что, увидев все своими глазами, журналист, если нужно, внесет изменения в канву рассказа, в его основные пункты, но вряд ли ретуширование коснется деталей, которые были присочинены для колорита и которые никому не придет в голову проверять. Так, по крайней мере, кажется мне, профану. Хотелось бы, чтобы какой-нибудь журналист-профессионал рассказал об этом вполне откровенно. К сожалению, газета еще не имеет своего Мабильона. Но не приходится сомневаться, что подчинение несколько устаревшему кодексу литературных приличий, власть стереотипной психологии, страсть к живописности прочно занимают свое место в галерее виновников публикуемых измышлений.

* * *

От чистого и простого вымысла до невольного заблуждения – немало ступеней. Уже хотя бы потому, что так легко искренне повторяемая чепуха превращается в ложь, если случай тому благоприятствует. Вымысел требует умственного усилия, которому сопротивляется свойственная большинству лень ума. Насколько удобней попросту поверить выдумке, в истоках своих ненарочитой и соответствующей интересам момента!

Вспомните знаменитую историю с «нюрнбергским самолетом». Хотя до конца она так и не выяснена, кажется вполне вероятным, что какой-то французский коммерческий самолет пролетал над Нюрнбергом за несколько дней до объявления войны. Возможно, его приняли за военный. Возможно, что среди населения, уже взбудораженного призраками ожидаемой войны, распространился слух о бомбах, сброшенных в разных местах. Между тем точно известно, что бомбы не были сброшены, что правители Германской империи имели все возможности для того, чтобы рассеять этот ложный слух. Следовательно, бесконтрольно его приняв, чтобы сделать из него повод для войны, они по существу солгали. Но солгали, ничего не измышляя и, возможно, даже не очень ясно сознавая вначале этот обман. Они поверили нелепому слуху, потому что им было выгодно поверить. Среди всех типов лжи ложь самому себе – достаточно частое явление, и слово «искренность» – понятие весьма широкое, пользоваться которым можно лишь после уточнения многих оттенков.

Тем не менее верно, что многие очевидцы обманываются совершенно искренне. Вот тут самое время историку воспользоваться драгоценными результатами, которыми за несколько последних десятилетий наблюдение вооружило почти совершенно новую дисциплину – психологию свидетельства. В той мере, в какой ее достижения касаются нашего предмета, нам хотелось бы сказать следующее.

Если верить Гильому де Сен-Тьерри, его ученик и друг святой Бернард однажды с большим удивлением узнал, что капелла, в которой он, молодой монах, ежедневно присутствовал на богослужении, имела в алтарной стене три окна, – а он-то всегда считал, что там лишь одно окно. Агиограф в свою очередь удивляется и восхищается: подобное безразличие к земному, конечно, предвещало благочестивейшего слугу Господа! Бернард, по-видимому, и в самом деле отличался из ряда вон выходящей рассеянностью. Если верить другому рассказу, ему впоследствии довелось целый день бродить у Женевского озера, а он его даже не заметил. Однако многократные случаи показывают: чтобы грубо ошибаться в отношении окружающих предметов, которые, казалось бы, должны быть нам известны лучше всего, отнюдь не надо быть выдающимся мистиком. Студенты профессора Клапареда в Женеве показали себя во время его знаменитых опытов столь же неспособными верно описать вестибюль их университета, как «док-

тор медоточивых речей» – капеллу своего монастыря. Дело в том, что у большинства людей мозг воспринимает окружающий мир весьма несовершенно. Кроме того, поскольку свидетельства – это в сущности лишь высказанные воспоминания, всегда есть опасность, что к первоначальным ошибкам восприятия добавятся ошибки памяти, той зыбкой, «дырявой» памяти, которую изобличал еще один из наших старинных юристов.

Неточность некоторых людей бывает поистине патологической. Для такого психоза я бы предложил, хоть это и непочтительно, название «болезнь Ламартина». Все мы знаем, что такие люди обычно не лезут за словом в карман. Но если можно говорить о свидетелях более или менее неточных и вполне надежных, то опыт показывает, что нет таких свидетелей, чьи слова всегда и при всех обстоятельствах заслуживали бы доверия. Абсолютно правдивого свидетеля не существует, есть лишь правдивые или ложные свидетельства. Даже у самого способного человека точность запечатлевающихся в его мозгу образов нарушается по причинам двух видов. Одни связаны с временным состоянием наблюдателя, например, с усталостью или волнением. Другие – со степенью его внимания. За немногими исключениями мы хорошо видим и слышим лишь то, что для нас важно. Если врач приходит к больному, я больше поверю его описанию вида пациента, чью внешность и поведение он наблюдал с особым тщанием, чем его описанию стоявшей в комнате мебели, которую он, вероятно, окинул рассеянным взглядом. Вот почему, вопреки довольно распространенному предрассудку, самые привычные для нас предметы, как для святого Бернарда капелла в Сито, относятся, как правило, к тем, точное описание которых получить трудней всего: привычка почти неизбежно порождает безразличие.

Свидетели исторических событий часто наблюдали их в момент сильного эмоционального смятения, либо же их внимание, – то ли мобилизованное слишком поздно, если событие было неожиданным, то ли поглощенное заботами о неотложных действиях, – было не способно с достаточной четкостью зафиксировать черты, которым историк теперь по праву придает первостепенное значение. Некоторые случаи стали знамениты. Кем был сделан первый выстрел 25 февраля 1848 г. перед Министерством иностранных дел, давший начало восстанию, которое, в свою очередь, привело к революции? Войсками или толпой? Мы этого, вероятно, так никогда не узнаем. И как можно теперь относиться всерьез к длиннейшим описаниям хроникеров, к подробнейшим рассказам о костюмах, поведении, церемониях, военных эпизодах, как можно, подчиняясь укоренившейся рутине, сохранять хоть тень иллюзии насчет правдивости всей этой бутафории, которой упивались мелкотравчатые историки-романтики, когда вокруг нас ни один свидетель не в состоянии охватить с точностью и полнотой те детали, которых мы столь наивно ищем у древних авторов? В лучшем случае такие описания представляют декорацию в том виде, как ее воображали во времена данного писателя. Это тоже чрезвычайно поучительно, но отнюдь не является тем родом сведений, которых любители живописного обычно ищут в своих источниках.

Надо, однако, уточнить, к каким выводам приводят нас эти замечания, возможно лишь с виду пессимистические. Они не затрагивают основу структуры прошлого. Остаются справедливыми слова Бейля: «Никогда нельзя будет убедительно возразить против той истины, что Цезарь победил Помпея», и, какие бы принципы ни выдвигались в споре, нельзя будет найти что-либо более несокрушимое, чем фраза «Цезарь и Помпей существовали в действительности, а не являлись плодом фантазии тех, кто описал их жизнь». Правда, если бы следовало сохранить как достоверные лишь несколько фактов такого рода, не нуждающихся в объяснении, история была бы сведена к ряду грубых утверждений, не имеющих особой интеллектуальной ценности. Дело, к счастью, обстоит не так. Единственные причины, для которых психология свидетельства отмечает наибольшую частоту недостоверности, это самые ближайшие по времени события. Большое событие можно сравнить со взрывом. Скажите точно, при каких условиях произошел последний молекулярный толчок, необходимый для высвобождения газов? Часто нам придется примириться с тем, что этого мы не узнаем. Конечно, это при-

скорбно, но в лучшем ли положении находятся химики? Состав взрывчатой смеси, однако, целиком поддается анализу. Революция 1848 г. была движением, вполне отчетливо детерминированным; только по какой-то странной аберрации кое-кто из историков счел возможным представить ее как типично случайное происшествие, в то время как известны многие весьма различные и весьма активные факторы, которые Токвиль сумел тогда же распознать и которые ее давно подготавливали. Чем была стрельба на Бульваре капуцинок, как не последней искрой?

Но мало того, что, как мы увидим далее, ближайшие причины слишком часто ускользают от наблюдения очевидцев и, следовательно, от нашего. Сами по себе они принадлежат в истории к особому разделу непредвидимого, «случайного». Можем утешиться еще и тем, что неполноценность свидетельств обычно делает эти причины недоступными для самых тонких наших инструментов. Даже когда они лучше известны, их столкновение с великими каузальными цепями эволюции даст осадок лжи, который наша наука не в состоянии устранить и не имеет права делать вид, что она его устранила. Что касается интимных пружин человеческих судеб, перемен в мышлении или в образе чувств, в технике, в социальной или экономической структуре, то свидетели, которых мы об этом спрашиваем, нисколько не подвержены слабостям моментального восприятия. По счастливому единству, которое предвидел уже Вольтер, самое глубокое в истории – это также и самое в ней достоверное.

* * *

Крайне различная у разных индивидуумов способность наблюдать не является также и социальной константой. Некоторые эпохи были ею наделены меньше, чем другие. Как ни низко стоит, например, у большинства людей нашего времени восприятие чисел, мы в общем не так уж ошибаемся, как средневековые анналисты – наше восприятие, как и наша цивилизация, пропитано математикой. Если бы ошибки в свидетельствах определялись в конечном счете только недостаточной остротой ощущений или внимания, историку пришлось бы представить их изучение психологу. Но наряду с довольно обычными мелкими отклонениями, связанными с деятельностью мозга, многие ошибки в свидетельствах коренятся в явлениях, типичных для особой социальной атмосферы. Вот почему они, равно как и ложь, приобретают иногда документальную ценность.

В сентябре 1917 г. пехотный полк, в котором я находился, залегал в окопах на Шменде-Дам, к северу от городка Брен. Во время одной из вылазок мы взяли пленного. Это был резервист, по профессии коммерсант, родом из Бремена на Везере. Чуть позже до нас дошла из тыла забавная история. Наши прекрасно информированные товарищи говорили примерно так: «Подумайте, до чего доходит немецкий шпионаж! Мы захватываем небольшой их пост в центре Франции и кого же мы там находим? Коммерсанта, устроившегося в мирное время в нескольких километрах отсюда, в Брене». Конечно, здесь – игра слов. Но не будем считать, что все так просто. Можно ли взваливать вину только на слух? Настоящее название города было не то чтобы плохо расслышано, а скорее неправильно понято; никому не известное, оно не привлекло внимания. По естественной склонности ума людям казалось, что они слышат вместо него знакомое название. Но и этого мало. Уже в первый акт истолкования входил другой, столь же безотчетный. Бесчисленные рассказы о немецких кознях создали мысленную картину, к сожалению, слишком часто оказывавшуюся правдивой; она приятно щекотала романтические чувства толпы. Подмена Бремена Бреном как нельзя лучше согласовывалась с этим умонастроением и, конечно, напрашивалась сама собой.

Так и бывает с большинством искаженных свидетельств. Направление ошибки почти всегда предопределено заранее. Главное, она распространяется и приживается только в том случае, если согласуется с пристрастиями общественного мнения. Она становится как бы зеркалом, в котором коллективное сознание созерцает свои собственные черты. Во многих бель-

гийских домах сделаны на фасадах узкие отверстия, чтобы штукатурам было легче укреплять леса. Немецкие солдаты в 1914 г. и не подумали бы в этой безобидной выдумке каменщиков усмотреть бойницы, приготовленные вольными стрелками, не будь их воображение уже давно напугано призраком партизанской войны. Облака не изменили своей формы со Средних веков. Мы, однако, уже не видим в них ни креста, ни волшебного меча. Хвост кометы, которую наблюдал великий Амбруаз Паре, вероятно, несколько не отличался от тех, что движутся по нашим небесам. Паре, однако, чудилось, что он видит там щиты со странными гербами. Предрассудок одержал верх над обычной точностью глаза, и его свидетельство, как и многие другие, говорит нам не о том, что он наблюдал в действительности, а о том, что в его время считалось естественным видеть.

Однако, для того чтобы ошибка одного свидетеля стала ошибкой многих, чтобы неверное наблюдение превратилось в ложный слух, необходимо определенное состояние общества. Чрезвычайные потрясения коллективной жизни, пережитые нашими поколениями, дают, конечно, множество разительных примеров. Правда, факты настоящего слишком близки к нам, чтобы их подвергать точному анализу. Зато войну 1914–1918 гг. можно рассматривать с большей дистанции.

Всем известно, как урожайны были эти четыре года на ложные вести, в особенности среди сражавшихся. Именно в этом крайне своеобразном «окопном» обществе интересней всего проследить, как создавались слухи.

Роль пропаганды и цензуры была значительна, но на свой лад. Она оказалась противоположной тому, чего ожидали создатели этих органов. Как превосходно сказал один юморист, «в окопах господствовало убеждение, что все может быть правдой, кроме того, что напечатано». Газетам не верили, литературе также, ибо, помимо того, что любые издания приходили на фронт очень нерегулярно, все были убеждены, что печать строго контролируется. Отсюда – поразительное возрождение устной традиции, древней матери легенд и мифов. Мощным толчком, о котором не посмел бы мечтать самый отважный экспериментатор, правительства как бы стерли предшествующее многовековое развитие и отбросили солдата-фронтовика к средствам информации и состоянию ума древних времен, до газеты, до бюллетеня, до книги.

Слухи рождались обычно не на передовой. Там небольшие отряды были для этого слишком изолированы друг от друга. Солдат не имел права перемещаться без приказа, и если это делал, то чаще всего рискуя жизнью. Иногда, правда, здесь появлялись случайные гости: связанные, исправлявшие линию телефонисты, артиллерийские наблюдатели. Эти важные персоны мало общались с простым пехотинцем. Но были также и регулярные связи, гораздо более существенные. Их порождала забота о пропитании. Агорой этого мирка убежищ и сторожевых постов являлись кухни. Там встречались раз или два в день дневальные, приходившие из разных пунктов сектора, там они беседовали между собой или с поварами. Последние много знали, ибо, находясь на перекрестке дорог из всех воинских частей, они, кроме того, обладали особой привилегией – могли ежедневно обмениваться несколькими словами с кондукторами воинских составов, счастливыми, размещавшимися по соседству со штабами. Так вокруг костров или очагов походных кухонь завязывались мимолетные связи между совершенно несхожими людьми. Затем дневальные трогались в путь по тропинкам и траншеям и вместе с котлами приносили на передовые линии всякие известия, правдивые или ложные, но почти всегда слегка искаженные и сразу же подвергавшиеся дальнейшей переработке. На военных картах, чуть позади соединяющихся черточек, указывающих передовые позиции, можно нанести сплошь заштрихованную полосу – зону формирования легенд.

История знала немало обществ, в которых существовали аналогичные условия, с той лишь разницей, что эти условия были не временным следствием чрезвычайного кризиса, а составляли нормальную основу жизни. Там тоже устная передача являлась единственно надежной. И связи между разрозненными элементами также осуществлялись почти исключительно

особыми посредниками или в определенных узловых пунктах. Бродячие торговцы, жонглеры, паломники, нищие заменяли там наших дневальных, пробиравшихся по траншеям. Регулярные встречи происходили на рынках или по случаю религиозных празднеств. Так обстояло дело, например, во времена раннего Средневековья. Монастырские хроники, составленные в результате опросов странников, во многом схожи с заметками, которые могли бы писать, будь у них к этому вкус, наши кухонные капралы. Для ложных слухов эти общества всегда были превосходным питательным бульоном. Частое общение между людьми заставляет сравнивать различные версии. Оно развивает критическое чувство. Напротив, рассказчику, который, появляясь изредка, приносит трудными путями далекие вести, верят безоговорочно.

3. Очерк логики критического метода

Критика свидетельства, занимающаяся психическими явлениями, всегда будет тонким искусством. Для нее нет готовых рецептов. Но все же это искусство рациональное, основанное на методичном проведении нескольких важнейших умственных операций. Короче, у него есть своя собственная диалектика, которую следует попытаться определить.

Предположим, что от какой-то исчезнувшей цивилизации остался лишь один предмет и к тому же обстоятельства его нахождения не дают возможности связать его с чем бы то ни было, даже чуждым человеку, например с геологическими отложениями (ибо при поисках связей неодушевленную природу тоже надо принимать в расчет). Нам совершенно невозможно будет датировать эту единичную находку и оценить ее подлинность. В самом деле, всякое установление даты, всякая проверка и интерпретация источника в целом возможны лишь при включении его в хронологический ряд или синхронный комплекс. Мабильон создал дипломатику, сопоставляя меровингские дипломы то один с другим, то с текстами иных эпох или иного характера; экзегетика родилась из сопоставления евангельских рассказов. В основе почти всякой критики лежит сравнение.

Но результаты этого сравнения неоднородны. Оно приводит к установлению либо сходства, либо различия. В некоторых случаях совпадение одного свидетельства со свидетельствами, близкими по времени, может привести к прямо противоположным выводам.

Сперва рассмотрим простейший случай – рассказ. Марбо в своих «Мемуарах», которые столь волновали юные сердца, сообщает с массой подробностей об одном отважном поступке, героем которого выводит самого себя: если ему верить, в ночь с 7 на 8 мая 1809 г. он переплыл в лодке бурные волны разлившегося Дуная, чтобы захватить на другом берегу у австрийцев несколько пленных. Как проверить этот рассказ? Разумеется, призвав на помощь другие свидетельства. У нас есть армейские приказы, походные журналы, отчеты; они свидетельствуют, что в ту знаменитую ночь австрийский корпус, чьи палатки Марбо, по его словам, нашел на левом берегу, еще занимал противоположный берег. Кроме того, из «Переписки» самого Наполеона явствует, что 8 мая разлив еще не начался. Наконец, найдено прошение о производстве в чине, написанное самим Марбо 30 июня 1809 г. Среди заслуг, на которые он там ссылается, нет ни слова о его славном подвиге, совершенном в прошлом месяце. Итак, с одной стороны – «Мемуары», с другой – ряд текстов, их опровергающих. Надо разобраться в этих противоречивых свидетельствах. Что мы сочтем более правдоподобным? Что там же, на месте, и штабы и сам император ошибались (если только они, бог весть почему, не исказили действительность умышленно); что Марбо в 1809 г., жажда повышения, грешил ложной скромностью; или что много времени спустя старый воин, чьи рассказы, впрочем, снискали ему определенную славу, решил подставить еще одну подножку истине? Очевидно, никто не станет колебаться: «Мемуары» снова солгали.

Итак, здесь установление разногласия опровергло одно из противоречивых свидетельств. Одно из них должно было пасть. Этого требовал самый универсальный из постулатов логики: закон противоречия категорически не допускает, чтобы какое-то событие могло произойти и в то же время не произойти. Правда, в мире ученых встречаются этакие покладистые люди, которые при двух антагонистических утверждениях останавливаются на чем-то среднем; они напоминают мне школьника, который, отвечая, сколько будет 2 в квадрате, и слыша с одной стороны подсказку «четыре», а с другой – «восемь», решил, что правильным ответом будет «шесть».

Остается вопрос, как делать выбор между свидетельством отвергаемым и тем, которое как будто должно быть принято. Здесь решает психологический анализ: мы взвешиваем возможные мотивы правдивости, лживости или заблуждения свидетелей. В данном случае эта

оценка приводит к почти бесспорным выводам. Но при других обстоятельствах она иногда осложняется гораздо более высоким коэффициентом неуверенности. Выводы, основанные на тщательнейшем взвешивании мотивов, располагаются на большой шкале от почти невозможного до совершенно правдоподобного.

Вот, однако, примеры другого типа.

Грамота, датированная XII в., написана на бумаге, тогда как все, обнаруженные до сих пор подлинные документы той эпохи написаны на пергамене; форма букв в ней сильно отличается от той, которую мы видим в других документах того же времени; язык изобилует словами и оборотами, не свойственными тогдашнему обиходу. Или так: характер обработки некоего орудия, как нам говорят, – палеолитического, обнаруживает приемы, которые, насколько нам известно, применялись лишь в эпохи, гораздо более близкие к нам. Мы сделаем вывод, что эта грамота и это орудие – поддельные. Как и в предыдущем случае, приговор будет вынесен на основе разноречия, но из соображений совсем иного рода. В данном случае аргументация будет строиться на том, что в пределах жизни одного поколения в рамках одного и того же общества господствует такое единообразие обычаев и технических приемов, что ни один индивидуум не может существенно отойти от общепринятой практики. Мы считаем бесспорным, что какой-нибудь француз времен Людовика VII выписывал буквы примерно так же, как его современники¹⁴; что изъяснялся он примерно теми же словами; что пользовался он теми же материалами; что если бы один из ремесленников мадленской эпохи располагал для обработки костяных наконечников механической пилой, то его товарищи также пользовались бы ею. Постулат этот в конечном итоге – социологического порядка. Понятие «коллективный эндосмос», влияние количества, неизбежность подражания, на которых этот постулат основан, несомненно, подтверждаются постоянным опытом человечества и в целом сливаются с самим понятием «цивилизация».

Не очень хорошо, однако, если свидетельства чересчур уж совпадают во всем. Это говорит тогда не в их пользу и скорее побуждает их отвергнуть.

Всякий, кто участвовал в сражении при Ватерлоо, знал, что Наполеон потерпел там поражение. Слишком уж оригинального свидетеля, который стал бы это отрицать, мы сочтем лжесвидетелем. Мы должны допустить, что если ограничиться простой и грубой констатацией поражения Наполеона при Ватерлоо, то во французском языке нет особых возможностей высказать это как-то иначе. Но что, если два свидетеля или те, кто претендует на эту роль, опишут нам битву в одних и тех же выражениях? Или даже при некотором различии выражений опишут ее с теми же деталями? Мы без колебаний сделаем вывод, что один из них списал у другого или что оба они списали с какого-то общего образца. Действительно, наш ум отказывается допустить, что два наблюдателя, неизбежно находившиеся в разных пунктах и в разной степени внимательные, могли записать с одними и теми же подробностями один и тот же эпизод; что в бесчисленном количестве слов французского языка два писателя, работавших независимо один от другого, могли, действуя произвольно, выбрать те же слова и в той же последовательности для описания одних и тех же фактов.

Если оба рассказа выдают себя за непосредственное описание действительности, по крайней мере один из них лжет.

Представьте себе еще, что на двух древних памятниках из камня высечены два военных эпизода. Они относятся к двум разным походам, но изображены почти в одинаковых чертах. Археолог скажет: «Один из двух художников наверняка обокрал другого, если только они оба

¹⁴ В юности я слышал, как весьма знаменитый ученый, преподаватель Школы хартий, с гордостью говорил нам: «Я датирую рукописи по характеру письма безошибочно с точностью до двадцати лет». Он забыл лишь одно: многие люди, в том числе и писцы, живут больше сорока лет, и если почерк иногда в старости меняется, то при этом он очень редко приспосабливается к новому стилю письма. Около 1200 г. наверняка были писцы лет шестидесяти, которые писали еще так, как их учили в году 1150-м. История письма поразительно отстает от истории языка. Она еще ждет своего Дица или своего Мейе.

не довольствовались воспроизведением с какого-то общепринятого шаблона». Не важно, что две эти стычки отделены лишь коротким промежутком времени или что в них сражались те же народы – египтяне против хеттов, ассирийцы против эламитов. Нас возмущает сама мысль, что, при бесконечном разнообразии человеческих поз, для изображения двух различных событий, совершившихся в разное время, выбраны одни и те же жесты. В качестве свидетельства о ратных подвигах, на что эти картины претендуют, по крайней мере одна из них, если не обе, безусловно, подделка.

Так критика движется между двумя крайностями – сходством подтверждающим и сходством опровергающим. Дело в том, что возможность случайного совпадения имеет свои пределы и ткань социального единообразия не так уж ровна и гладка. Иными словами, мы полагаем, что в мире и в данном обществе единообразие достаточно велико, чтобы исключить возможность слишком резких отклонений. Но это единообразие, как мы его представляем себе, определяется чертами весьма обобщенными. Оно предполагает, думаем мы, и в какой-то мере охватывает – стоит лишь углубиться в факты действительности – число возможных комбинаций, слишком близкое к бесконечности, чтобы можно было допустить их ненарочитое повторение: для этого необходим сознательный акт подражания. Хотя в конечном счете критика свидетельства все же основана на инстинктивной метафизике подобного и различного, единичного и множественного.

* * *

Когда у нас возникло предположение о том, что перед нами копия, нам остается определить направление влияния. Надо ли считать, что в каждой паре документов оба исходят из одного общего источника? А если предположить, что один из них подлинный, то который из двух достоин этого звания? Иногда ответ подсказывают внешние критерии, например датировка обоих документов, если ее можно установить. Если же этого подспорья нет, вступает в свои права психологический анализ, опирающийся на более глубокие, внутренние особенности, присущие самому предмету или тексту.

Естественно, что такой анализ не подчиняется механическим правилам. Надо ли, например, как делают некоторые эрудиты, руководствоваться тем принципом, что при последующих обработках текста в него вносятся всё новые выдумки? Тогда текст наиболее сжатый и наименее неправдоподобный всегда будет иметь шанс, что его признают самым древним. Порой это верно. Мы видим, что от одной надписи к другой число врагов, павших в бою с тем или иным ассирийским царем, непомерно возрастает. Но случается, что этот принцип изменяет. Самое баснословное описание «страстей» святого Георгия – как раз первое по времени; в дальнейшем, принимаясь за обработку старинного рассказа, его редакторы устраняли одну деталь за другой, шокированные их невероятной фантастичностью. Есть много способов подражания. Они зависят от характера индивидуума, а порой – от условностей, принятых целым поколением. Как и любую другую интеллектуальную позицию, их нельзя предвидеть заранее, ссылаясь на то, что нам, мол, они кажутся «естественными».

К счастью, плагиаторы нередко выдают себя своими промахами. В случае если они не поняли текста, послужившего им образцом, их бессмыслица изобличает их мошенничество. Если же они пытаются замаскировать свои заимствования, их губит примитивность уловок. Я знал одного гимназиста, который на уроке, не сводя глаз с тетрадки соседа, старательно списывал его сочинение фразой за фразой, только переиначивая их. С большой последовательностью он делал подлежащее дополнением, а действительной залог менял на страдательный. Разумеется, он лишь дал учителю превосходный образец для применения исторической критики.

Разоблачить подражание там, где, как нам кажется, у нас есть два или три свидетеля, значит оставить из них лишь одного. Два современника Марбо, граф де Сегюр и генерал Пелё,

дали аналогичное его рассказу описание пресловутой переправы через Дунай. Но Сегюр писал после Пеле. Он читал Пеле. Он попросту списал. Что касается Пеле, тот, правда, писал до Марбо, но он был его другом и, безусловно, часто слышал рассказы о его вымышленных подвигах, ибо неумолимый хвастун, дурача своих близких, упражнялся в том, чтобы получше мистифицировать потомков. Итак, Марбо остается единственным собственным поручителем, ибо два других говорили с его слов. Когда Тит Ливий воспроизводит Полибия, пусть даже приукрашивая его, единственным авторитетом для нас остается Полибий. Когда Эйнхард, обрисовывая Карла Великого, повторяет портрет Августа, сделанный Светонием, – тут, собственно, вовсе нет свидетеля.

Бывает, наконец, что за мнимым свидетелем прячется суфлер, не желающий себя назвать. Изучая процесс тамплиеров, Роберт Ли заметил, что когда два обвиняемых, принадлежавших к различным группам ордена, допрашивались одним инквизитором, они неизменно признавались в одних и тех же зверствах и кощунствах. Но если двое обвиняемых, даже принадлежащих к одной группе, попадали на допрос к разным инквизиторам, их признания уже не совпадали. Естественно сделать вывод, что ответы диктовал тот, кто допрашивал. Подобные примеры, я думаю, можно часто встретить в юридических актах.

Роль, которую играет в критическом рассуждении то, что можно назвать принципом ограниченного сходства, нигде, без сомнения, не выступает с такой рельефностью, как при новейшем применении этого метода – при статистической критике.

Предположим, я изучаю цены в период между двумя определенными датами в обществе с весьма развитыми связями и с активным торговым оборотом. После меня за это исследование берется другой ученый, затем третий, но они пользуются материалами, которые отличаются от моих, а также различны у обоих: другие счетные книги, другие прейскуранты. Каждый из нас устанавливает средние годовые цены, определяет на основе некоей общей базы индексы, выводит графики. Все три кривые примерно совпадают. Отсюда можно заключить, что каждая из них дает в общем верное представление о движении цен. Почему?

Дело не только в том, что в однородной экономической среде большие колебания цен непременно должны подчиняться единообразному ритму. Этого соображения было бы, наверное, достаточно, чтобы взять под подозрение резко отклоняющиеся кривые, но не для того, чтобы убедить нас, что среди всех возможных вариантов тот, в котором наши три кривые совпадают, единственно верный именно потому, что они тут совпадают. На трех одинаково подкрученных весах можно взвесить один и тот же груз и получить один и тот же результат – неверный. Суть рассуждения основывается здесь на анализе механизма ошибок. Ни один из наших трех графиков цен нельзя считать свободным от этих ошибок в деталях. В области статистики такие ошибки почти неизбежны.

Допустим, что мы устраняем возможность индивидуальных ошибок исследователя (не говоря о более грубых промахах, ибо кто из нас решится утверждать, что никогда не запутывался в неописуемом лабиринте старинных мер?), но даже добросовестнейший ученый будет попадать в ловушки, расставляемые самими документами. По неаккуратности или нечестности некоторые цены могли быть записаны неточно; другие являются исключением (например, цена товара, продаваемого «другу», или, наоборот, вздутая цена), и потому могут сильно исказить нашу среднюю; прейскуранты, отражающие средние рыночные цены, не всегда составлялись с идеальной точностью. Но при большом числе цен эти ошибки уравниваются, так как в высшей степени неправдоподобно, чтобы ошибки всегда делались в одном направлении. Итак, если соответствие результатов, полученных при помощи различных данных, можно считать их взаимоподтверждением, это объясняется тем, что лежащее в глубине соответствие разных небрежностей, мелких обманов, мелких уступок представляется нам – и вполне резонно – не поддающимся исследованию. Если при каких-то неустранимых разногласиях свидетели в

конечном счете приходят к согласию, мы должны отсюда сделать вывод, что в основе их показания исходят из реальности, суть которой в данном случае вне сомнений.

Реактивы, применяемые для проверки свидетельств, требуют осторожного обращения. Почти все рациональные принципы, почти все опытные данные в этой области, если доводить их до крайности, приводят к своей противоположности. Как у всякой уважающей себя логики, у исторической критики есть свои антиномии, по крайней мере внешние.

Чтобы свидетельство было признано подлинным, этот метод, как мы видели, требует определенного сходства данного свидетельства с близкими ему. Но если выполнять это требование неукоснительно, что станется с открытием? Ведь само слово «открытие» означает неожиданность, отклонение. Заниматься наукой, которая ограничивается констатацией того, что все происходит всегда так, как этого ожидаешь, было бы и бесполезно и неинтересно. До сих пор не обнаружено грамот на французском языке, написанных ранее 1204 г. (а не по-латыни, как было в предшествующие времена). Вообразим, что завтра какой-нибудь ученый найдет французскую грамоту, датированную 1180 г. Признает ли он этот документ подложным или же делает вывод, что наши знания были недостаточными?

Впрочем, впечатление, что найденное свидетельство противоречит данным своей эпохи, коренится порой не только в преходящей неполноте наших знаний. Бывает, что это несоответствие присуще самим изучаемым предметам. Социальная однородность не так уже всесильна, чтобы некие индивидуумы или небольшие группы не могли ускользнуть от ее власти. Откажемся ли мы признать установленные даты «Писем к провинциалу» или «Горы Сент-Виктуар» под тем предлогом, что Паскаль писал не так, как Арно, а живопись Сезанна отличается от живописи Бугро? Сочтем ли мы поддельными древнейшие орудия из бронзы на том основании, что из большинства слоев той эпохи нам пока удалось добыть лишь орудия из камня?

Эти ложные умозаключения отнюдь не выдумка, и можно было бы привести длинный список фактов, которые сперва отрицались рутинной эрудицией, потому что были неожиданными, начиная с обожествления животных у египтян, над чем так усиленно потешался Вольтер, и кончая следами римского быта в слоях третичной эпохи. Однако если приглядеться, методологический парадокс здесь только внешний. Умозаключение на основе сходства не утрачивает своих прав. Важно лишь, чтобы точный анализ определял возможность отклонений и пункты необходимого сходства.

Ибо всякая индивидуальная оригинальность имеет свои границы. Стиль Паскаля принадлежит только ему, но его грамматика и словарный фонд принадлежат его времени. Наша условная грамота 1180 г. может отличаться особенностями языка, не встречающимися в других известных нам документах того же времени. Но чтобы можно было ее считать подлинной, французский язык в ней должен в целом соответствовать состоянию, отраженному в литературных текстах, относящихся к этой дате, и упоминаемые в ней учреждения должны соответствовать тем, которые в то время существовали.

Правильно проводимое критическое сопоставление не довольствуется сближением свидетельств одного временного плана. Всякий феномен человеческой жизни – звено цепи, проходящей через века. В тот день, когда новый Врен-Люка, бросив на стол в Академии пачку автографов, захочет нам доказать, что Паскаль открыл принцип относительности еще до Эйнштейна, мы без обиняков скажем, что его бумаги поддельны. Не потому, что Паскаль был не способен открыть то, чего не открывали его современники, а потому, что теория относительности была открыта в результате долгого развития математических умозаключений. Ни один человек, будь он даже самым великим гением, не мог бы самостоятельно проделать эту работу поколений. И напротив, когда при первых открытиях палеолитических рисунков некоторые ученые оспаривали их подлинность или датировку под тем предлогом, что подобное искусство не могло после такого расцвета полностью угаснуть, эти скептики рассуждали неправильно: некоторые цепи обрываются, и цивилизации смертны.

Когда читаешь, пишет отец Делэ, что церковь отмечает в один и тот же день праздник двух своих деятелей, которые оба умерли в Италии; что обращение одного и другого было вызвано чтением житий святых; что каждый из них основал монашеский орден с названием, происходящим от одного и того же слова; что оба эти ордена были затем упразднены двумя папами-тезками, так и хочется сказать, что, видимо, в мартиролог по ошибке вписали одну и ту же личность под двумя именами. Между тем это чистая правда: ставши монахами под влиянием биографий праведников, святой Джованни Коломбини основал орден иезуатов, а Игнатий Лойола – орден иезуитов; оба умерли 31 июля (первый близ Сиены в 1367 г., второй в Риме в 1556 г.); орден иезуатов был упразднен папой Климентом IX, а Братство Иисусово – Климентом XIV. Пример весьма любопытный. Наверное, он не единственный. Если после какого-нибудь катаклизма от философских трудов последних столетий останется лишь несколько скудных отрывков, какие мучительные размышления вызовет у ученых существование двух мыслителей, которые оба англичане, оба носят имя Бэкон и оба в своем учении уделяли большое место опытному знанию. Г-н Пайс признал легендами многие древнеримские предания лишь на том основании, что в них также упоминаются одни и те же имена в связи с довольно похожими эпизодами. Не в обиду будь сказано критике плагиатов, суть которой – в отрицании спонтанного повторения событий или имен, совпадение – одна из тех причуд истории, которые нельзя просто зачеркнуть.

Но мало признать возможность случайных накладок. Сведенная к этой простой констатации, критика вечно будет балансировать между «за» и «против». Сомнение станет орудием познания лишь тогда, когда в каждом отдельном случае можно будет с известной точностью оценить степень вероятности данной комбинации. Здесь путь исторического исследования, как и многих других гуманитарных дисциплин, пересекается с широкой дорогой теории вероятности.

* * *

Оценить вероятность какого-либо события – значит установить, сколько у него есть шансов произойти. Приняв это положение, имеем ли мы право говорить о возможности какого-либо факта в прошлом? В абсолютном смысле – очевидно, не имеем. Гадать можно только о будущем. Прошлое есть данность, в которой уже нет места возможному. Прежде чем выбросишь кости, вероятность того, что выпадет то или иное число очков, равна одному к десяти. Но когда стаканчик пуст, проблемы уже нет. Возможно, позже мы будем сомневаться, выпало ли в тот день три очка или пять. Неуверенность тогда будет в нас, в нашей памяти или в памяти очевидцев нашей игры. Но не в фактах реальности.

Однако, если вдуматься, применение понятия вероятности в историческом исследовании не имеет в себе ничего противоречивого. Историк, спрашивающий себя о вероятности минувшего события, по существу, лишь пытается смелым броском мысли перенестись во время, предшествовавшее этому событию, чтобы оценить его шансы, какими они представлялись накануне его осуществления. Так что вероятность – все равно в будущем. Но поскольку линия настоящего тут мысленно отодвинута назад, мы получим будущее в прошедшем, состоящее из части того, что для нас теперь является прошлым. Если факт бесспорно имел место, эти рассуждения не больше, чем метафизическая игра. Какова была вероятность того, что родится Наполеон? Что Адольф Гитлер, будучи в 1914 г. солдатом, избегнет французской пули? Развлекаться такими вопросами не запрещено. При условии, что им придается лишь то значение, которое они имеют в действительности; это просто разговорный прием, позволяющий более рельефно показать роль случайного и непредвидимого в историческом движении человечества. В них нет ничего общего с критикой свидетельства. Но если, напротив, сомнительно само существование факта? Например, мы сомневаемся, что некий автор мог, не списывая чужой

рассказ, самостоятельно повторить многие его эпизоды и даже слова; что только случай или некая богами предустановленная гармония могут объяснить поразительное сходство памфлетов одного писателя времен Второй империи с «Протоколами сионских мудрецов». Мы сегодня можем допустить или отвергнуть правдоподобие такого совпадения в зависимости от того, насколько – еще до написания рассказа – это совпадение представлялось возможным с большим или меньшим коэффициентом вероятности.

Однако математические расчеты случайного основаны на воображаемом допущении. При всех возможных случаях постулируется в исходном моменте равновесие условий: причина, которая заранее благоприятствовала бы одному или другому, была бы в этих расчетах инородным телом. Игральная кость теоретиков – идеально уравновешенный куб; если в одну из его граней впаять свинцовый шарик, шансы игроков уже не будут равны. Но критика свидетелств почти сплошь имеет дело с краплеными костями. Ибо тут постоянно вмешиваются тончайшие элементы человеческого, склоняя чашу весов в сторону какой-то одной преобладающей возможности.

Правда, одна из исторических дисциплин является исключением – это лингвистика, по крайней мере та ее отрасль, которая занимается установлением родственности языков. Сильно отличаясь по масштабу собственно критических операций, этот вид исследования имеет с исторической критикой то общее, что стремится раскрыть филиации. Условия, являющиеся тут объектом рассуждений, чрезвычайно близки исходному условию равенства, присущему теории случайного. Этой привилегией лингвистика обязана особенностям феноменов языка. Действительно, огромное количество возможных комбинаций звуков сводит к ничтожному числу вероятность их случайного повторения в больших масштабах в различных говорах. Но тут есть и нечто более важное: если исключить немногие подражательные звуко сочетания, значения, вкладываемые в эти комбинации, совершенно произвольны. То, что очень сходные сочетания «тю» или «ту» (tu, произнесенное по-французски или по-латыни) служат для обозначения второго лица, очевидно, не предопределено заранее какой-либо образной связью. Поэтому, если мы устанавливаем, что таков смысл данного сочетания звуков во французском, итальянском, испанском и румынском языках, и если мы к тому же находим в этих языках множество других соответствий, равно иррациональных, то единственным разумным объяснением будет то, что французский, итальянский, испанский и румынский языки имеют общее происхождение. Различные возможности были тут для человека равноценны, поэтому решение обусловлено почти чистым подсчетом шансов. Но далеко не всегда дело обстоит так просто.

В нескольких дипломах средневекового монарха, трактующих о различных предметах, мы встречаем одни и те же слова и обороты. Приверженцы «критики стиля» утверждают: причина в том, что эти дипломы составлены одним нотариусом. Если бы все определялось только случаем, с их мнением можно было бы согласиться. Но это не так. В каждом обществе и, более того, в каждой небольшой профессиональной группе существуют свои языковые навыки. Значит, недостаточно указать пункты сходства. Надо еще отделить в них редкое от общеупотребительного. Лишь действительно необычные выражения могут свидетельствовать в пользу одного автора, разумеется, при условии, что они повторяются достаточно часто. Ошибка здесь в том, что всем элементам языка придается одинаковый вес, как если бы изменчивые коэффициенты социальных предпочтений не были свинцовыми шариками, что нарушают равновесие шансов.

С начала XIX в. целая школа ученых занялась исследованием истории списков литературных текстов. Принцип прост. Перед нами три рукописи одного и того же произведения: В, С, D; мы констатируем, что все три содержат одни и те же, явно ошибочные прочтения оригинала (это самый старый, выдвинутый Лахманном, метод установления ошибок). Либо мы вообще в них находим одни и те же прочтения, правильные и неправильные, но по большей части отклоняющиеся от соответственных мест в других рукописях (предложенный монахом Кантеном интегральный учет вариантов). Мы решаем, что экземпляры «родственны». Это можно

понимать по-разному: либо одни из них списаны с других в последовательности, которую еще предстоит определить, либо все они, каждая рукопись своим путем, восходят к некоей общей модели. В самом деле, трудно допустить, чтобы такая последовательность совпадений была случайной. Однако два сравнительно недавно выдвинутые соображения вынуждают критику текстов в значительной мере отказаться от квазимеханической строгости своих выводов.

Переписчики порой исправляли свою модель. Даже тогда, когда они работали независимо друг от друга, общие навыки мышления, вероятно, довольно часто диктовали им сходные решения. Теренций кое-где употребляет исключительно редкое слово *raptio*¹⁵. Не поняв его, два переписчика заменили его словом *ratio*¹⁶, вносящим бессмыслицу, но зато знакомым. Надо ли было им для этого стовариваться или списывать друг у друга?

Такой тип ошибок ничего не может нам прояснить в «генеалогии» рукописей. Более того. Почему переписчик должен был всегда пользоваться только одной моделью? Никто ему не запрещал, если была возможность, сопоставлять несколько экземпляров, чтобы по своему усмотрению сделать выбор между различными вариантами. Конечно, это случай редкий для средних веков, когда библиотеки были бедны, зато, по всей вероятности, гораздо более частый в античную эпоху.

Какое место предназначить этим кровосмесительным порождениям нескольких разных традиций на роскошных древах Иессеевых, которые принято изображать в критических изданиях? В игре совпадений воля индивидуума, как и влияние коллективных сил, плутует в сговоре со случаем.

Как поняла уже вместе с Вольнеем философия XVIII в., большинство проблем исторической критики – это, конечно, проблемы вероятности, но настолько сложные, что самые детальные вычисления не помогают их решить. Беда не только в чрезвычайной сложности данных, но и в том, что сами по себе они чаще всего не поддаются переводу на язык математики. Как, например, выразить в цифрах особое предпочтение, которым пользуется в данном обществе некое слово или обычай? Мы не можем избавиться от наших трудностей, переложив их на плечи Ферма, Лапласа и Эмиля Бореля. Но так как их наука находится в некотором роде на пределе, не достижимом для нашей логики, мы можем хотя бы просить ее, чтобы она со своих высот помогала нам точнее анализировать наши рассуждения и вернее их направлять.

* * *

Кто сам не имел дела с эрудитами, плохо представляет себе, с каким трудом они обычно соглашались допустить самое невинное совпадение. Разве не пришлось нам видеть, как уважаемый немецкий ученый утверждал, что «Салическая правда» составлена Хлодвигом, ибо в ней и в одном эдикте Хлодвиги встречаются два схожих выражения? Не будем повторять банальные аргументы, приводившиеся в споре обеими сторонами. Даже поверхностное знание математической теории вероятности помогло бы тут избежать промаха. Когда случай играет свободно, вероятность единичного совпадения или небольшого числа совпадений не так уж невозможна. Не важно, что эти совпадения кажутся нам удивительными, – недоумениям здравого смысла не следует придавать слишком большое значение.

Можно, забавы ради, высчитать вероятность случайного совпадения, при котором в два разных года кончины двух совершенно различных людей могут прийти на одно и то же число одного месяца. Она равна $1/365 \div 2$.^{*17} Предположим теперь (хотя это предположение

¹⁵ похищение (*лат.*).

¹⁶ разум (*лат.*).

¹⁷ Если предположить, что шансы смертности равны для каждого из дней года. Хотя это конечно (существует годичная кривая смертности), все же такое предположение возможно, без погрешности.

абсурдно), что заранее предрешено: созданные Джованни Коломбини и Игнатием Лойолой ордена будут упразднены Римской церковью. Изучение списка пап позволяет установить: вероятность того, что упразднение это совершат двое пап, носящих одно имя, равна $11/13$. Совместная вероятность совпадения числа и месяца для двух смертей и того, что ордена будут распущены двумя папами-тезками, лежит между $1/10^3$ и $1/10^{618}$. Желаящий держать пари, наверное, не удовлетворился бы таким приблизительным числом. Но точные науки рассматривают как близкие к неосуществимому в нашем земном масштабе лишь возможности порядка 10^{15} . До этого числа тут, как мы видим, еще далеко. А что положение это верно, подтверждается бесспорно засвидетельствованным примером двух святых.

Практически можно не принимать во внимание только вероятность большого скопления совпадений, ибо, в силу хорошо известной теоремы, вероятности отдельных случаев тогда следует перемножить между собой, и их произведение будет вероятностью комбинации; а так как каждая из этих вероятностей представляет дробь, то произведение их будет величиной меньшей, чем каждый из множителей. В лингвистике знаменит пример слова *bad*, которое по-английски и по-персидски означает «плохой», хотя английское и персидское слова никак не связаны общим происхождением. Тот, кто вздумал бы на этом единственном соответствии построить филиацию, погрешил бы против охранительного закона всякой критики совпадений: тут имеют силу лишь большие числа.

Массовые соответствия или несоответствия состоят из множества частных случаев. В целом же случайные влияния взаимоуничтожаются. Но если мы рассматриваем каждый элемент независимо от другого, воздействие этих переменных величин уже нельзя исключить. Даже при крапленых костях всегда труднее предугадать каждый отдельный бросок, чем исход партии, и этот бросок будет иметь гораздо больше различных объяснений. Вот почему чем дальше критика углубляется в детали, тем меньше уверенности в ее выводах. В «Орестее», какой мы ее читаем сегодня, нет почти ни одного отдельно взятого слова, о котором мы могли бы сказать с уверенностью, что читаем его так, как оно было написано Эсхилом. И все же не будем сомневаться: в целом эта «Орестея» действительно принадлежит Эсхилу. По поводу целого у нас больше уверенности, чем относительно его компонентов.

В какой степени, однако, мы вправе произносить это ответственное слово «уверенность»? Уже Мабильон признавался, что критика грамот не может обеспечить «метафизической» уверенности. И он был прав. Мы только ради простоты иногда подменяем язык вероятности языком очевидности. Но теперь мы знаем лучше, чем во времена Мабильона, что к этой условности прибегаем не только мы одни. В абсолютном смысле слова отнюдь не «невозможно», что «Дар Константина» подлинный, а «Германия» Тацита, как вздумалось утверждать некоторым ученым, подложна. В этом же смысле нет ничего «невозможного» и в предположении, что обезьяна, ударяя наугад по клавишам пишущей машинки, может случайно буква за буквой воспроизвести «Дар» или «Германию». «Физически невозможное событие, – сказал Курно, – это всего лишь событие, вероятность которого бесконечно мала». Ограничивая свою долю уверенности взвешиванием вероятного и невероятного, историческая критика отличается от большинства других наук о действительности лишь несомненно более тонкой нюансировкой степеней.

¹⁸ Со смерти Джованни Коломбини до наших дней во главе Римской церкви стояли 65 пап (включая двойные и тройные правления времен Великой схизмы); после кончины Игнатия их сменилось 38. В первом списке 55 повторяющихся имен, которые есть и во втором списке, где их как раз 38 (как известно, папы по обычаю берут имена, освященные прошлым). Возможность того, чтобы иезуаты были распущены одним из этих пап-тезок, была, таким образом, $55/65$ или $11/13$; для иезуитов же она составляла $38/38$, т. е. 1, иначе говоря, была равна уверенности. Комбинация вероятностей составляет $11/13 \times 1$, или $11/13$. Наконец $1/365^2$ или $1/133225 \times 11/13$ дает $11/1731925$, или чуть больше $1/157447$. Для полной точности надо было бы учесть продолжительность правления каждого папы. Но в этой математической забаве, единственная цель которой показать, какого порядка величина должна быть принята в расчет, я позволил себе упростить вычисление (прим. М. Блока).

* * *

Всегда ли представляем мы себе, какую огромную пользу принесло применение рационального метода критики к человеческому свидетельству? Я разумею пользу не только для исторического познания, но и для познания вообще.

В прежние времена, если у вас заранее не было веских поводов заподозрить во лжи очевидцев или рассказчиков, всякий изложенный факт был на три четверти фактом, принятым как таковой. Не будем говорить так, мол, было в очень давние времена. Люсьен Февр великолепно показал это для Ренессанса: в эпохи, достаточно близкие к нам, только так мыслили и действовали, и поэтому шедевры тех времен все еще остаются для нас живыми. Не будем говорить: да, конечно, таким было отношение легковерной толпы, чья огромная масса, в которой, увы, немало полуученых, вплоть до наших дней постоянно грозит увлечь наши хрупкие цивилизации в страшные бездны невежества или безумия. Самые стойкие умы не были тогда свободны, не могли быть свободны от общих предрассудков. Если рассказывали, что выпал кровавый дождь, стало быть, кровавые дожди бывают. Если Монтень читал у любезных ему древних авторов всякие небылицы о странах, жители которых рождаются безголовыми, или о сказочной силе маленькой рыбки прилипалы, он, не поморщившись, вписывал это в аргументы своей диалектики. При всем его остроумии в разоблачении механики какого-нибудь ложного слуха, готовые идеи встречали в нем гораздо больше недоверия, чем так называемые засвидетельствованные факты.

Да, тогда, по раблезианскому мифу, царил старик Наслышка. Как над миром природы, так и над миром людей. И даже над миром природы, быть может, еще больше, чем над миром людей. Ибо, исходя из более непосредственного опыта, люди скорее готовы были усомниться в каком-либо событии человеческой жизни, чем в метеоре или мнимом происшествии в природе. Но как быть, если ваша философия не допускает чуда? Или если ваша религия не допускает чудес других религий? Тогда вам надо поднатужиться, чтобы для этих поразительных явлений найти, так сказать, познаваемые причины, которые – будь то козни дьявола или таинственные приливы, – как-то укладывались в системе идей или образов, совершенно чуждых тому, что мы бы теперь назвали научным мышлением. Но отрицать само явление – такая смелость даже в голову не приходила. Помпонацци, корифей падуанской школы, столь чуждой сверхъестественному в христианстве, не верил в то, что короли, даже помазанные миром из священной ампулы, могут – ибо они короли – исцелять больных своим прикосновением. Однако самих исцелений он не отрицал, только приписывал их физиологической особенности, которую считал наследственной: благодать священного помазания сводилась у него к лечебным свойствам слюны у лиц данной династии.

Если картина мира, какой она предстает перед нами сегодня, очищена от множества мнимых чудес, подтвержденных, казалось бы, рядом поколений, то этим мы, конечно, обязаны прежде всего постепенно вырабатывавшемуся понятию о естественном ходе вещей, управляемом незыблемыми законами. Но само это понятие могло укрепиться так прочно, а наблюдения, ему как будто противоречившие, могли быть отвергнуты лишь благодаря кропотливой работе, где объектом эксперимента был человек в качестве свидетеля. Отныне мы в состоянии и обнаружить, и объяснить изъяны в свидетельстве. Мы завоевали право не всегда ему верить, ибо теперь мы знаем лучше, чем прежде, когда и почему ему не следует верить. Так наукам удалось освободиться от мертвого груза многих ложных проблем.

Но чистое знание и здесь, как во всем остальном, не отделено от поведения человека.

Ришар Симон, чье имя в когорте наших основоположников находится в первом ряду, оставил нам не только великолепные труды по экзегетике. Ему пришлось однажды применить всю остроту своего ума для спасения нескольких неповинных людей, преследуемых по неле-

пому обвинению в ритуальном убийстве. В таком сочетании нет ничего случайного. В обеих областях потребность в интеллектуальной чистоплотности одинакова. И удовлетворить ее в обоих случаях помогало одно и то же орудие. Человек в своей деятельности постоянно вынужден обращаться к информации со стороны, и тут ему не менее важно, чем при научном исследовании, взвешивать точность этой информации. Никаких особых средств для этого нет. Скажем точнее: он пользуется теми же средствами, которые уже выкованы эрудицией. В искусстве извлекать пользу из сомнения судебная практика всего лишь идет по следам – и не без запоздания – болландистов и бенедиктинцев. Даже психологи додумались сделать непосредственно наблюдаемое и провоцируемое свидетельство объектом науки лишь много спустя после того, как туманная память прошлого начала подвергаться проверке разумом. Возмутительно, что в нашу эпоху, особенно подверженную действию бацилл обмана и ложных слухов, критический метод не значится даже в самом крошечном уголке учебных программ, – хотя он уже перестал быть лишь скромным подспорьем в узкоспециальных работах. Отныне перед ним открылись куда более широкие горизонты, и история вправе назвать в числе самых бесспорных побед то, что она, разрабатывая свои технические приемы, открыла людям новую дорогу к истине и, следовательно, к справедливости.

Глава четвертая

Исторический анализ

1. Судить или понимать?

Знаменитая формула старика Ранке гласит: задача историка – всего лишь описывать события, «как они происходили» (*wie es eigentlich gewesen war*). Геродот говорил это задолго до него: «рассказывать то, что было (*ton eonta*)» Другими словами, ученому, историку предлагается склониться перед фактами. Эта максима, как и многие другие, быть может, стала знаменитой лишь благодаря своей двусмысленности. В ней можно скромно вычитать всего-навсего совет быть честным – таков, несомненно, смысл, вложенный в нее Ранке. Но также – совет быть пассивным. И перед нами возникают сразу две проблемы: проблема исторического беспристрастия и проблема исторической науки как попытки воспроизведения истории (или же как попытки анализа).

Но существует ли на самом деле проблема беспристрастия? Она возникает только потому, что и это слово, в свою очередь, двусмысленно. Есть два способа быть беспристрастным – как ученый и как судья. Основа у них общая – добросовестное подчинение истине. Ученый регистрирует и, более того, провоцирует опыт, который, возможно, опровергнет самые дорогие для него теории. Честный судья, каково бы ни было его тайное желание, допрашивает свидетелей с одной лишь заботой – узнать факты во всей их подлинности. И для ученого, и для судьи – это долг совести, о котором не спорят.

Но наступает момент, когда их пути расходятся. Если ученый провел наблюдение и дал объяснение, его задача выполнена. Судье же предстоит еще вынести приговор. Если он, подавив личные симпатии, вынес приговор, следуя закону, он считает себя беспристрастным. И действительно будет таковым, по мнению судей. Но не по мнению ученых. Ибо невозможно осудить или оправдать, не основываясь на какой-то шкале ценностей, уже не связанной с какой-либо позитивной наукой. Что один человек убил другого – это факт, который в принципе можно доказать. Но чтобы покарать убийцу, мы должны исходить из тезиса, что убийство – вина, а это, по сути, – всего лишь мнение, относительно которого не все цивилизации были единодушны.

И вот историк с давних пор слывет неким судьей подземного царства, обязанным восхвалять или клеймить позором погибших героев. Надо полагать, такая миссия отвечает прочно укоренившемуся предрассудку. Все учителя, которым приходилось исправлять работы студентов, знают, как трудно убедить этих юношей, чтобы они с высоты своей парты не разыгрывали роль Миносов или Осирисов. Тут особенно уместно замечание Паскаля: «Все играют в богов, творя суд: это хорошо, а это плохо». При этом забывают, что оценочное суждение оправдано только как подготовка к действию и имеет смысл лишь в отношении сознательно принятой системы нравственных рекомендаций. В повседневной жизни необходимость определить свою линию поведения вынуждает нас наклеивать ярлыки, обычно весьма поверхностные. Но в тех случаях, когда мы уже не в силах что-либо изменить, а общепринятые идеалы глубоко отличны от наших, там эта привычка только мешает. Достаточно ли мы уверены в самих себе и в собственном времени, чтобы в сонме наших предков отделить праведников от злодеев? Не глупо ли, возводя в абсолют относительные критерии индивидуума, партии или поколения, прилагать их к способу правления Суллы в Риме или Ришелье на Генеральных штатах христианнейшего короля? Нет ничего более изменчивого по своей природе, чем подобные приговоры, подверженные всем колебаниям коллективного сознания или личной

прихоти. И история, слишком часто отдавая предпочтение наградному списку перед лабораторной тетрадью, приобрела облик самой неточной из всех наук – бездоказательные обвинения мгновенно сменяются бессмысленными реабилитациями. Господа робеспьеристы, антиробеспьеристы, мы просим пощады: скажите нам, бога ради, попросту, каким был Робеспьер?!

Полбеда, если бы приговор только следовал за объяснением; тогда читатель, перевернув страницу, легко мог бы его пропустить. К несчастью, привычка судить в конце концов отбивает охоту объяснять. Когда отблески страстей прошлого смешиваются с пристрастиями настоящего, реальная человеческая жизнь превращается в черно-белую картину. Уже Монтень предупреждал нас об этом: «Когда суждение тянет вас в одну сторону, невозможно не отклониться и не повести изложение куда-то вкось». Чтобы проникнуть в чужое сознание, отдаленное от нас рядом поколений, надо почти полностью отрешиться от своего «я». Но, чтобы приписать этому сознанию свои собственные черты, вполне можно оставаться самим собою. Последнее, конечно, требует куда меньше усилий. Насколько легче выступать «за» или «против» Лютера, чем понять его душу; насколько проще поверить словам папы Григория VII об императоре Генрихе IV или словам Генриха IV о папе Григории VII, чем разобраться в коренных причинах одной из величайших драм западной цивилизации! Приведем еще в качестве примера – уже не личного, а иного плана – вопрос о национальных имуществах. Революционное правительство, порвав с прежним законодательством, решило распродать эти владения участками и без аукциона, что, несомненно, наносило серьезный ущерб интересам казны. Некоторые эрудиты уже в наши дни яростно восстали против этого. Какая была бы смелость, если бы они заседали в Конвенте и там отважились говорить таким тоном! Но вдали от гильотины такая абсолютно безопасная храбрость только смешна. Было бы лучше выяснить, чего же в действительности хотели люди III года. А они прежде всего стремились к тому, чтобы мелкому крестьянину облегчить приобретение земли; равновесию бюджета они предпочитали улучшение условий жизни крестьян-бедняков, что обеспечивало их преданность новому порядку. Были эти деятели правы или ошибались? Что мне тут до запоздалого суждения какого-то историка! Единственное, чего мы от него просим, – не подпадать под гипноз собственного мнения настолько, чтобы ему казалось невозможным и в прошлом какое-либо иное решение. Урок, преподносимый нам интеллектуальным развитием человечества, ясен: науки оказывались плодотворными и, следовательно, в конечном счете практически полезными в той мере, в какой они сознательно отходили от древнего антропоцентризма в понимании добра и зла. Мы сегодня посмеялись бы над химиком, вздумавшим отделить злые газы, вроде хлора, от добрых, вроде кислорода. И хотя химия в начале своего развития принимала такую классификацию, застрянь она на этом, – она бы очень мало преуспела в изучении веществ.

Остережемся, однако, слишком углублять эту аналогию. Терминам науки о человеке всегда будут свойственны особые черты. В терминологии наук, занимающихся миром физических явлений, исключены понятия, связанные с целенаправленностью. Слова «успех» или «неудача», «оплошность» или «ловкость» можно там употреблять лишь условно, да и то с опаской. Зато они естественны в словаре исторической науки. Ибо история имеет дело с существами, по природе своей способными ставить перед собой цели и сознательно к ним идти.

Естественно полагать, что командующий армией, вступив в битву, старается ее выиграть. В случае поражения, если силы с обеих сторон примерно равны, мы вправе сказать, что он, видимо, неумело руководил боем. А если мы узнаем, что такие неудачи для него не в новинку? Мы не погрешим против добросовестной оценки факта, придя к выводу, что этот командующий, наверное, неважный стратег. Или возьмем, например, денежную реформу, целью которой, как я полагаю, было улучшить положение должников за счет займодавцев. Определив ее как мероприятие великолепное или неуместное, мы стали бы на сторону одной из этих двух групп, т. е. произвольно перенесли бы в прошлое наше субъективное представление об общественном благе. Но вообразим, что операция, проведенная для облегчения бремени налогов,

на деле по каким-то причинам – и это точно установлено – дала противоположный результат. «Она потерпела крах», – скажем мы, и это будет только честной констатацией факта. Неудавшийся акт – один из существенных элементов в человеческой эволюции. Как и во всей психологии.

Более того. Вдруг нам станет известно, что наш генерал сознательно вел свои войска к поражению. Тогда мы без колебаний заявим, что он был изменником – так это попросту и называется (со стороны истории было бы несколько педантичной щепетильностью отказываться от простой и недвусмысленной обиходной лексики). Но тогда требуется еще выяснить, как оценивался подобный поступок в соответствии с общепринятой моралью того времени. Измена может порой оказываться своеобразным благоразумием – пример тому кондотьеры в старой Италии.

Короче, в наших трудах царит и все освещает одно слово: «понять». Не надо думать, что хороший историк лишен страстей – у него есть по крайней мере *эта* страсть. Слово, сказать по правде, чреватое трудностями, но также и надеждами. А главное – полное дружелюбие. Даже действуя, мы слишком часто осуждаем. Ведь так просто кричать: «На виселицу!» Мы всегда понимаем недостаточно. Всякий, кто отличается от нас – иностранец, политический противник, – почти неизбежно слывет дурным человеком. Нам надо лучше понимать душу человека хотя бы для того, чтобы вести неизбежные битвы, а тем паче, чтобы их избежать, пока еще есть время. При условии, что история откажется от замашек карающего архангела, она сумеет нам помочь излечиться от этого изъяна. Ведь история – это обширный и разнообразный опыт человечества, встреча людей в веках. Неоценимы выгоды для жизни и для науки, если встреча эта будет братской.

2. От разнообразия человеческих фактов к единству сознания

Стремление понять не имеет, однако, ничего общего с пассивностью. Для занятий наукой всегда требуются две вещи – предмет, а также человек. Действительность человеческого мира, как и реальность мира физического, огромна и пестра. В простой ее фотографии, если предположить, что такое механическое всеобъемлющее воспроизведение имеет смысл, было бы невозможно разобраться. Нам скажут, что между прошлым и нами в качестве первого фильтра выступают источники. Да, но они часто отфильтровывают совсем не то, что надо. И напротив, они почти никогда не организуют материал в соответствии с требованиями разума, стремящегося к познанию. Как ученый, как всякий просто реагирующий мозг, историк отбирает и отсеивает, т. е., говоря коротко, анализирует. И прежде всего он старается обнаружить сходные явления, чтобы их сопоставить.

Передо мной надгробная римская надпись: единый и цельный по содержанию текст. Но какое разнообразие свидетельств таится в нем, ожидая прикосновения волшебной палочки ученого!

Нас интересует язык? Лексика и синтаксис расскажут о состоянии латыни, на которой в то время и в определенном месте старались писать. В этом не совсем правильном и строгом языке мы выявим некоторые особенности разговорной речи. А может быть, нас больше привлекают верования? Перед нами – яркое выражение надежд на потустороннюю жизнь. Политическая система? Мы с величайшей радостью прочтем имя императора, дату его правления. Экономика? Возможно, эпитафия откроет нам еще не известное ремесло. И так далее.

Теперь представим себе, что не один изолированный документ, а множество разных документов сообщают нам сведения о каком-то моменте в истории какой-то цивилизации. Из живших тогда людей каждый участвовал одновременно во многих сферах человеческой деятельности: он говорил и его слышали окружающие, он поклонялся своим богам, был производителем, торговцем или просто потребителем; быть может, он и не играл никакой роли в политических событиях, но тем не менее подвергался их воздействию. Решимся ли мы описать все эти различные виды деятельности без отбора и группировки фактов, в том хаотическом смешении, как их представляют нам каждый документ и каждая жизнь, личная или коллективная? Это означало бы принести в жертву ясность не подлинной реальности, которая создается естественным сходством и глубокими связями, а чисто внешнему порядку синхронных событий. Отчет о проведенных опытах – не то же самое, что дневник, отмечающий минуту за минутой, что происходит в лаборатории.

Действительно, когда в ходе эволюции человечества нам удастся обнаружить между явлениями нечто общее, родственное, мы, очевидно, имеем в виду, что всякий выделенный таким образом тип учреждений, верований, практической деятельности и даже событий, как бы выражает особую, ему лишь присущую и до известной степени устойчивую тенденцию в жизни индивидуума или общества. Можно ли, например, отрицать, что в религиозных эмоциях, при всех различиях, есть нечто общее? Отсюда неизбежно следует, что любой факт, связанный с жизнью людей, будет для нас понятней, если нам уже известны другие факты подобного рода. В первый период феодализма деньги скорее играли роль меры ценностей, чем средства платежа, что существенно отличалось от норм, установленных западной экономикой около 1850 г. В свою очередь не менее резки различия между денежной системой середины XIX в. и нашей. Однако вряд ли ученый, имеющий дело лишь с монетами, выпущенными около 1000 г., легко определит своеобразие их употребления в ту эпоху. В этом – оправданность отдельных специальных отраслей науки, так сказать, вертикальных, – разумеется, в самом скромном смысле, в

котором только и может быть законной подобная специализация как средство, восполняющее недостаток широты нашего мышления и кратковременность жизни людей.

Более того. Пренебрегая разумным упорядочением материала, получаемого нами в совершенно сыром виде, мы в конечном счете приходим лишь к отрицанию времени и, следовательно, самой истории. Сможем ли мы понять состояние латыни на данной стадии, если отвледемся от предшествующего развития этого языка? Мы знаем также, что определенная структура собственности, те или иные верования, несомненно, не были абсолютным началом. В той мере, в какой изучение феноменов человеческой жизни осуществляется от более древнего к недавнему, они включаются прежде всего в цепь сходных феноменов. Классифицируя их по родам, мы обнажаем силовые линии огромного значения.

Но, возразят нам, различия, которые вы устанавливаете, рассекая ткань жизни, существуют лишь в вашем уме, их нет в самой действительности, где все перемешано. Стало быть, вы прибегаете к абстракции. Согласен. Зачем бояться слов? Ни одна наука не может обойтись без абстракции. Так же, как и без воображения. Примечательно, кстати, что те же люди, которые пытаются изгнать первую, относятся, как правило, столь же враждебно и ко второму. Это два аспекта все того же дурно понятого позитивизма. Науки о человеке не представляют исключения. Можно ли считать функцию хлорофилла более «реальной» – в смысле крайнего реализма, чем данную экономическую функцию? Вредны только такие классификации, которые основаны на ложных подобиях. Дело историка – непрестанно проверять устанавливаемые им подобия, чтобы лучше уяснить их оправданность, и, если понадобится, их пересмотреть. Подчиняясь общей задаче воссоздания подлинной картины, эти подобия могут устанавливаться с весьма различных точек зрения.

Вот, например, «история права». Курсы лекций и учебники – вернейшие средства для развития склероза – сделали это выражение ходовым. Но что же под ним скрывается? Правовая регламентация – это явно императивная социальная норма, вдобавок санкционированная властью, способной внушить к ней почтение с помощью четкой системы принудительных мер и наказаний. Практически подобные предписания могут управлять самыми различными видами деятельности. Но они никогда не являются единственными: в нашем каждодневном поведении мы постоянно подчиняемся кодексам моральным, профессиональным, светским, часто требующим от нас совсем иного, чем кодекс законов как таковой. Впрочем, и его границы непрерывно колеблются, и некая признанная обществом обязанность, независимо от того, включена она в него или нет, придается ли ей тем самым больше или меньше силы или четкости, по существу, очевидно, не изменяется.

Итак, право в строгом смысле слова – это формальная оболочка реальностей, слишком разнообразных, чтобы быть удобным объектом для изолированного изучения, и ни одну из них право не может охватить во всей полноте. Возьмем семью. Идет ли речь о малой современной семье-супружестве, постоянно колеблющейся, то сжимающейся, то расширяющейся, или же о большом средневековом роде, коллективе, скрепленном прочным остовом чувств и интересов, – достаточно ли будет для подлинного проникновения в ее жизнь перечислить статьи какого-либо семейного права? Временами, видимо, так и полагали, но к каким разочаровывающим результатам это привело, свидетельствует наше бессилие даже теперь описать внутреннюю эволюцию французской семьи.

Однако в понятии юридического факта, отличающегося от прочих фактов, все же есть и нечто точное. А именно: во многих обществах применение и в значительной мере сама выработка правовых норм были делом группы людей, относительно специализированной, и в этой роли (которую члены группы, разумеется, могли сочетать с другими социальными функциями) достаточно автономной, чтобы иметь свои собственные традиции и часто даже особый метод мышления. В общем история права должна была бы существовать самостоятельно лишь как история юристов, и для одной из отраслей науки о людях это тоже не такой уж незавид-

ный способ существования. Понимаемая в таком смысле, она проливает свет на очень различные, но подчиненные единой человеческой деятельности феномены, свет, хотя неизбежно и ограниченный определенной областью, но многое проясняющий. Совсем иной тип разделения представлен дисциплиной, которую привыкли именовать «человеческой географией». Тут угол зрения не определяется умственной деятельностью какой-либо группы (как то происходит с историей права, хотя она об этом и не подозревает). Но он не заимствован и из специфической природы данного человеческого факта, как в истории религии или истории экономики: в истории религии нас интересуют верования, эмоции, душевные порывы, надежды и страхи, внушаемые образом трансцендентных человечеству сил, а в истории экономики – стремления удовлетворить и организовать материальные потребности. Исследование в «антропогеографии» сосредоточивается на типе связей, общих для большого числа социальных феноменов; она изучает общества в их связи с природной средой – разумеется, двусторонней, когда люди непрерывно воздействуют на окружающий мир и одновременно подвергаются его воздействию. В этом случае у нас также есть всего лишь один аспект исследования, оправданность которого доказывается его плодотворностью, но его нужно дополнять другими аспектами. Такова в самом деле роль анализа в любом виде исследования. Наука расчленяет действительность лишь для того, чтобы лучше рассмотреть ее благодаря перекрестным огням, лучи которых непрерывно сходятся и пересекаются. Опасность возникает только с того момента, когда каждый прожектор начинает претендовать на то, что он один видит все, когда каждый кантон знания воображает себя целым государством.

Остережемся, однако, и в этом случае принимать как постулат мнимогометрический параллелизм между науками о природе и науками о людях. В пейзаже, который я вижу из своего окна, каждый ученый найдет для себя поживу, не думая о картине в целом. Физик объяснит голубой цвет неба, химик – состав воды в ручье, ботаник опишет траву. Заботу о восстановлении пейзажа в целом, каким он предо мной предстает и меня волнует, они предоставят искусству, если художник или поэт пожелают за это взяться. Ведь пейзаж как некое единство существует только в моем сознании. Суть же научного метода, применяемого этими формами познания и оправданного их успехами, состоит в том, чтобы сознательно забыть о созерцателе и стремиться понять только созерцаемые объекты. Связи, которые наш разум устанавливает между предметами, кажутся ученым произвольными; они умышленно их разрывают, чтобы восстановить более подлинное, по их мнению, разнообразие. Но уже органический мир ставит перед своими анализаторами тонкие и щекотливые проблемы. Биолог, конечно, может, удобства ради, изучать отдельно дыхание, пищеварение, двигательные функции, но он знает, что сверх всего этого существует индивидуум, о котором он должен рассказать. Трудности истории еще более сложны. Ибо ее предмет, в точном и последнем смысле, – сознание людей. Отношения, завязывающиеся между людьми, взаимовлияния и даже путаница, возникающая в их сознании, – они-то и составляют для истории подлинную действительность.

*Homo religiosus, homo oeconomicus, homo politicus*¹⁹ – целая вереница *homines* с прилагательными на «us»; при желании ее можно расширить, но было бы очень опасно видеть в них не то, чем они являются в действительности: это призраки, и они удобны, пока не становятся помехой. Существо из плоти и костей – только человек как таковой, соединяющий в себе их всех.

Конечно, в сознании человека есть свои внутренние перегородки, и некоторые из наших коллег мастерски их воздвигают. Гюстав Ленотр не мог надивиться, что среди деятелей террора было так много превосходных отцов семейств. Но даже будь наши великие революционеры и впрямь теми кровопийцами, образ которых приятно щекотал изнеженную буржуазным комфортом публику, это изумление все равно говорило бы о весьма ограниченном понимании

¹⁹ Человек религиозный, человек хозяйственный, человек политический (лат.).

психологии. Сколько людей живут различной жизнью в трех или четырех планах, стремясь отделить их один от другого и иногда достигая этого в совершенстве?

Отсюда еще далеко до отрицания фундаментального единства «я» и постоянного взаимопроникновения его различных аспектов. Разве Паскаль-математик и Паскаль-христианин были двумя чуждыми друг другу людьми? Разве пути ученого медика Франсуа Рабле и пантагрюэлической памяти мэтра Алькофрибаса никогда не пересекались? Даже когда роли, по очереди разыгрываемые одним актером, кажутся столь же противоположными, как стереотипные персонажи мелодрамы, вполне возможно, что, если приглядеться, эта антитеза окажется всего лишь маской, скрывающей более глубокое единство. Немало потешались в свое время над сочинителем элегий Флорианом, который, как рассказывали, бил своих любовниц. Но, быть может, он расточал в своих стихах столько нежности именно из желания утешиться, что ему не удавалось проявить ее в своих поступках? Когда средневековый купец, после того как он целый день нарушал предписания церкви насчет ростовщичества и справедливых цен, набожно преклонял колени перед образом Богоматери, а на склоне лет делал благочестивые пожертвования и вклады; когда в «тяжелые времена» владелец крупной мануфактуры строил приюты на деньги, сэкономленные за счет низкой оплаты труда детей в лохмотьях, – чего они оба хотели? Только ли, как обычно считают, откупиться от громов небесных довольно недорогой ценой, или же подобными вспышками веры и благотворительности они удовлетворяли, не говоря об этом вслух, тайные потребности души, которые вынуждала подавлять суровая житейская практика? Бывают противоречия в поведении, сильно напоминающие эскапизм.

А если перейти от индивидуума к обществу? Общество, как его ни рассматривай, в конечном счете пусть и не сумма (это, несомненно, было бы слишком грубо), но по меньшей мере продукт индивидуальных сознаний, и мы не удивимся, обнаружив в нем такую же непрестанную игру взаимодействий. Установлено, что с XII в. и вплоть до Реформации цехи ткачей представляли особо благоприятную почву для ересей. Вот прекрасный материал для карточки в картотеке истории религии. Что ж, поставим аккуратно этот кусочек картона в надлежащий ящик. В соседний ящик с этикеткой «история экономики» поместим следующую пачку заметок. Покончили ли мы теперь с беспокойными маленькими обществами мастеров челнока? Надо еще объяснить, почему одной из их основных черт было не сосуществование религиозного и экономического, а переплетение обоих аспектов. Удивленный «этим особым чувством уверенности, бесспорности своей моральной позиции», которое в нескольких предшествующих нам поколениях проявлялось, видимо, с поразительной полнотой, Люсьен Февр находит, кроме всего прочего, две причины – господство над умами космогонической системы Лапласа и «ненормальную устойчивость» денежной системы. Казалось бы, трудно найти что-либо, более далекое друг от друга. Тем не менее оба фактора вместе содействовали тому, что интеллектуальная позиция данной группы приобрела специфическую окраску.

В масштабе коллектива эти отношения, несомненно, ничуть не проще, чем в рамках личного сознания. Сегодня мы бы уже не решились написать попросту, что литература есть «выражение общества». Во всяком случае, в том смысле, в каком зеркало «выражает» находящийся перед ним предмет. Литература может передавать не только согласие. Она почти неизбежно тянет с собой множество унаследованных тем, формальных приемов, старых эстетических условностей – и все это причины ее отставания. «В один и тот же период, – тонко замечает А. Фосильон, – политика, экономика и искусство не находятся (я бы скорее сказал: «никогда не находятся». – М.Б.) в точках равной высоты на соответствующих кривых». Но именно благодаря такому разному и создается ритм социальной жизни, почти всегда неравномерный. Точно так же у большинства индивидуумов их разные души, выражаясь плюралистическим языком античной психологии, редко имеют один и тот же возраст, сколько зрелых людей сохраняют черты детства!

Мишле в 1837 г. объяснял Сент-Беву: «Если бы я держался в изложении только политической истории, если бы не учитывал различные элементы истории (религию, право, географию, литературу, искусство и т. д.), моя манера была бы совсем иной. *Но мне надо было охватить великое жизненное движение, так как все эти различные элементы входили в единство повествования*». В 1800 г. Фюстель де Куланж в свою очередь говорил слушателям в Сорбонне: «Вообразите, что сто специалистов разделили меж собой по кускам прошлое Франции. Верите ли вы, что они смогут создать историю Франции? Я в этом сильно сомневаюсь. У них наверняка не будет взаимосвязи между фактами, а эта взаимосвязь – также историческая истина». «Жизненное движение», «взаимосвязь» – противоположность образов здесь не случайна. Мишле мыслил и чувствовал в категориях органического мира; Фюстель же, будучи сыном века, которому Ньютонова вселенная как бы дала завершенную модель науки, черпал свои метафоры из пространственных понятий. Но их согласие благодаря этому кажется более полным. Два великих историка были достаточно великими, чтобы знать: цивилизация, как и индивидуум, ничем не напоминает пасьянса с механически подобранными картами; знание фрагментов, изученных по отдельности один за другим, никогда не приведет к познанию целого – оно даже не позволит познать самые эти фрагменты.

Но работа по восстановлению целого может проводиться лишь после анализа. Точнее, она – продолжение анализа, его смысл и оправдание. Можно ли в первоначальной картине, которую мы созерцаем, различать взаимосвязи, когда ничто еще четко не разделено? Сложная сеть взаимосвязей может проявиться лишь после того, как факты классифицированы по специфическим группам. Итак, чтобы следовать жизни в ее постоянном переплетении действий и противодействий, вовсе нет надобности пытаться охватить ее всю целиком, для чего требуются силы, намного превосходящие возможности одного ученого. Самое оправданное и нередко самое полезное – сосредоточиться при изучении общества на одном из его частных аспектов или, еще лучше, на одной из четких проблем, возникающих в том или ином его аспекте: верованиях, экономике, структуре классов или групп, политических кризисах... При таком разумном выборе не только проблемы будут поставлены более четко, но даже факты связей и влияний получат более яркое освещение. Конечно, при условии, что мы пожелаем их раскрыть. Хотите ли вы изучить по-настоящему, со всеми их товарами, крупных купцов Европы времен Ренессанса, всех этих торговцев сукнами или бакалеей, скупщиков меди, ртути или квасцов, банкиров, дававших ссуды императорам и королям? Вспомните, что они заказывали свои портреты Гольбейну, что они читали Эразма и Лютера. Чтобы понять отношение средневекового вассала к своему сеньору, вам придется также ознакомиться с его отношением к Богу. Историк никогда не выходит за рамки времени, но, вынужденный двигаться внутри него то вперед, то назад, как уже показал спор об истоках, он то рассматривает большие волны родственных феноменов, проходящие по времени из конца в конец, то сосредоточивается на каком-то моменте, где эти течения сходятся мощным узлом в сознании людей.

3. Терминология

Было бы, однако, недостаточно ограничиться выделением основных аспектов деятельности человека или общества. Внутри каждой из этих больших групп фактов необходим более тонкий анализ. Надо выделить различные учреждения, составляющие политическую систему, различные верования, обряды, эмоции, из которых складывается религия. Надо в каждом из этих элементов и в их комплексах охарактеризовать черты, порой сближающие их с реальностями того же порядка, а порой отдаляющие... Проблема же классификации, как показывает практика, неотделима от важнейшей проблемы терминологии.

Ибо всякий анализ прежде всего нуждается в орудии – в подходящем языке, способном точно очерчивать факты с сохранением гибкости, чтобы приспосабливаться к новым открытиям, в языке – и это главное – без зыбких и двусмысленных терминов. Это и есть наше слабое место. Один умнейший писатель, который нас, историков, терпеть не может, хорошо это подметил: «Решающий момент, когда четкие и специальные определения и обозначения приходят на смену понятиям, по происхождению туманным и статистическим, для истории еще не наступил». Так говорит Поль Валери. Но если верно, что этот «час точности» еще не наступил, он, быть может, когда-нибудь все же наступит? И главное, почему он медлит, почему он до сих пор не пробил?

Химия выковала себе свой арсенал знаков. Даже слов – ведь слово «газ», если не ошибаюсь, одно из немногих действительно выдуманных слов во французском языке. Но у химии было большое преимущество – она имела дело с реальностями, которые по природе своей не способны сами себя называть. Отвергнутый ею язык смутного восприятия был столь же произвольным, как и язык наблюдений, классифицируемых и контролируемых, пришедший на смену первому: скажем ли мы «купорос» или «серная кислота», само вещество здесь ни при чем. В науке о человечестве положение совсем иное. Чтобы дать названия своим действиям, верованиям и различным аспектам своей социальной жизни, люди не дожидались, пока все это станет объектом беспристрастного изучения. Поэтому история большей частью получает собственный словарь от самого предмета своих занятий. Она берет его, когда он истрепан и подпорчен долгим употреблением, а вдобавок часто уже с самого начала двусмыслен, как всякая система выражения, не созданная строго согласованным трудом специалистов.

Но хуже всего то, что в самих этих заимствованиях нет единства. Документы стремятся навязать нам свою терминологию; если историк к ним прислушивается, он пишет всякий раз под диктовку другой эпохи. Но сам-то он, естественно, мыслит категориями своего времени, а значит, и словами этого времени. Когда мы говорим о патрициях, современник старика Катона нас бы понял, но если автор пишет о роли «буржуазии» в кризисах Римской империи, как нам перевести на латынь это слово или понятие? Так две различные ориентации почти неизбежно делят между собой язык истории. Рассмотрим же их по порядку.

Воспроизведение или калькирование терминологии прошлого может на первый взгляд показаться достаточно надежным принципом. Однако, применяя его, мы сталкиваемся со многими трудностями.

Прежде всего изменения вещей далеко не всегда влекут за собой соответствующие изменения в их названиях. Таково естественное следствие присущего всякому языку традиционализма, равно как недостатка изобретательности у большинства людей.

Это наблюдение применимо даже к технике, подверженной, как правило, весьма резким переменам. Когда сосед мне говорит: «Я еду в своем экипаже», должен ли я думать, что речь идет о повозке с лошадьми или об автомобиле? Только предварительное знание того, что у соседа во дворе – не каретный сарай, а гараж, позволит мне понять его слова. *Agatrum* обозначало вначале пахотное бесколесное орудие, *саггуса* – колесное. Но так как первое появи-

лось раньше, могу ли я, встретив в тексте это старое слово, с уверенностью утверждать, что его попросту не сохранили для наименования нового орудия? И наоборот, Матье де Домбаль назвал *chargue* изобретенное им орудие, которое не имело колес и на деле было чем-то вроде сохи.

Но насколько сильней проявляется эта приверженность к унаследованному слову, когда мы переходим к реальностям менее материальным! Ведь в подобных случаях преобразования совершаются крайне медленно, так что сами люди, в них участвующие, того не замечают. Они не испытывают потребности сменить этикетку, ибо от них ускользает перемена в содержании. Латинское слово *servus*, давшее во французском *serf*, прошло через века. Но за это время в состоянии, им обозначаемом, совершилось столько изменений, что между *servus* Древнего Рима и *serf* Франции святого Людовика гораздо больше различий, нежели сходства. Поэтому историки обычно сохраняют слово *serf* для Средних веков. А когда речь идет об античности, они пишут *esclave*. Иначе говоря, они предпочитают употреблять не кальку, а эквивалент. Но при этом, ради внутренней точности языка, отчасти жертвуют гармонией его красок: ведь термин, который таким образом пересаживают в римскую среду, возник только к концу первого тысячелетия на рынках рабов, где пленные славяне служили как бы образцом полного порабощения, ставшего уже совершенно непривычным для сервов западного происхождения. Прием этот удобен, пока мы занимаемся явлениями, разделенными одно от другого во времени. А если посмотреть, что было в промежутке между ними, то когда же собственно *esclave* уступил место серву? Это вечный софизм с кучей зерна. Как бы то ни было, мы здесь вынуждены, чтобы не исказить факты, заменить их собственный язык терминологией, хоть и не вполне вымышленной, но, во всяком случае, переработанной и сдвинутой. И, напротив, бывает, что названия меняются во времени и в пространстве вне всякой связи с изменениями в самих вещах.

Иногда исчезновение слова связано с причинами, коренящимися в эволюции языка, а предмет или действие, обозначенные данным словом, нисколько этим не затрагиваются. Ибо лингвистические элементы имеют свой собственный коэффициент сопротивления или гибкости. Установив исчезновение в романских языках латинского глагола *emere* (покупать. — *Ред.*) и его замену другими глаголами очень различного происхождения — *acheter*, *comprai* и т. д., — один ученый недавно счел возможным сделать отсюда далеко идущие и весьма остроумные выводы о переменах, которые в обществах — наследниках Рима — преобразили систему торгового обмена. Сколько возникло бы вопросов, если бы этот бесспорный факт можно было рассматривать как факт изолированный! Но ведь в языках, вышедших из латинского, утрата слишком коротких слов была самым обычным явлением — безударные слоги ослаблялись настолько, что слова становились невнятными. Это явление чисто фонетического порядка, и забавно, что факт из истории произношения мог быть ошибочно истолкован как черта истории экономики.

В других случаях установлению или сохранению единообразного словаря мешают социальные условия. В сильно раздробленных обществах, вроде нашего средневекового, часто бывало, что учреждения вполне идентичные обозначались в разных местах разными словами. И в наши дни сельские говоры заметно различаются меж собой в наименованиях самых обычных предметов и общепринятых обычаев. В центральных провинциях, где я пишу эти строки, словом «деревня» (*village*) называют то, что на Севере обозначают как *hameau*, северную же *village* здесь именуют *bourg*. Эти расхождения слов сами по себе представляют факты, достойные внимания. Но, приспособляя к ним свою терминологию, историк не только сделал бы малопонятным изложение — ему пришлось бы отказаться от всякой классификации, а она для него — первостепенная задача.

В отличие от математики или химии наша наука не располагает системой символов, не связанной с каким-либо национальным языком. Историк говорит только словами, а значит, словами своей страны. Но когда он имеет дело с реальностями, выраженными на иностранном языке, он вынужден сделать перевод. Тут нет серьезных препятствий, пока слова относятся

к обычным предметам или действиям, – эта ходовая монета словаря легко обменивается по паритету. Но как только перед нами учреждения, верования, обычаи, более глубоко вросшие в жизнь данного общества, переложение на другой язык, созданный по образу иного общества, становится весьма опасным предприятием. Ибо, выбирая эквивалент, мы тем самым предполагаем сходство.

Так неужели же нам надо с отчаяния просто сохранить оригинальный термин – при условии, что мы его объясним? Конечно, порой это приходится делать. Когда в 1919 г. мы увидели, что в Веймарской конституции сохраняется для германского государства его прежнее наименование Reich, многие наши публицисты возмутились: «Странная «республика»! Она упорно называет себя «империей»!» Но дело здесь не только в том, что слово Reich само по себе не вызывает мыслей об императоре; оно связано с образами политической истории, постоянно колебавшейся между партикуляризмом и единством, а потому звучит слишком специфически по-немецки, чтобы можно было перевести его на другой язык, где отражено совсем иное национальное прошлое.

Можно ли, однако, сделать из такого механического воспроизведения, являющегося, казалось бы, самым простым решением, всеобщее правило? Оставим в стороне заботу о чистоте языка, хотя, признаемся, не очень-то приятно видеть, как ученые засоряют свою речь иностранными словами по примеру сочинителей сельских романов, которые, стараясь передать крестьянский говор, сбиваются на жаргон, равно чуждый и деревне и городу. Отказываясь от всякой попытки найти эквивалент, мы часто наносим ущерб самой реальности. По обычаю, восходящему, кажется, к XVIII в., французское слово *serf* и слова, близкие по значению в других западных языках, применяются для обозначения «крепостного» в старой царской России. Более неудачное сближение трудно придумать. Там система прикрепления к земле, постепенно превратившаяся в настоящее рабство; у нас форма личной зависимости, которая, несмотря на всю суровость, была очень далека от трактовки человека как вещи, лишенной всяких прав; поэтому так называемый русский серваж не имел почти ничего общего с нашим средневековым серважем. Но и назвав его просто «крепостничеством», мы тоже достигнем немногого. Ибо в Румынии, Венгрии, Польше и даже в восточной части Германии существовали типы зависимости крестьян, глубоко родственные тому, который установился в России. Неужели же нам придется каждый раз вводить термины из румынского, венгерского, польского, немецкого, русского языков? И все равно самое главное будет упущено – восстановление глубоких связей между фактами посредством определения их правильными терминами.

Этикетка была выбрана неудачно. И все-таки необходимо найти какую-то общую этикетку, стоящую над всеми национальными терминами, а не копирующую их. И в данном случае недопустима пассивность.

Во многих обществах практиковалось то, что можно назвать иерархическим билингвизмом. Два языка, народный и ученый, противостояли друг другу. На первом в обиходе думали и говорили, писали же почти исключительно на втором. Так, в Абиссинии с XI по XVII в. писали на языке геэз, а говорили на амхарском. В Евангелиях беседы изложены на греческом – в те времена великом языке культуры Востока; реальные же беседы, очевидно, велись на арамейском. Ближе к нам, в Средние века, долгое время все деловые документы, все хроники велись на латинском языке. Унаследованные от мертвых культур или заимствованные у чужих цивилизаций, эти языки образованных людей, священников и законников неизбежно должны были выражать целый ряд реалий, для которых они изначально не были созданы. Это удавалось делать лишь с помощью целой системы транспозиций, разумеется, очень неуклюжих.

Но именно по этим документам, если не считать материальных свидетельств, мы и узнаем об обществе. Те общества, в которых восторжествовал подобный дуализм языка, являются нам поэтому во многих своих важнейших чертах лишь сквозь вуаль приблизительности. Порой их даже отгораживает дополнительный экран. Великий кадастр Англии, составленный по веле-

нию Вильгельма Завоевателя, – знаменитая «Книга Страшного суда» – произведение нормандских или мэнских клерков. Они не только описали на латинском языке специфически английские институты, но сначала продумали их на французском. Когда историк спотыкается на такой терминологии, где проведена сплошная подмена слов, ему ничего не остается, как проделать ту же работу в обратном порядке. Если бы соответствия были выбраны удачно, а главное, применялись последовательно, задача оказалась бы не слишком сложной. Не так уж трудно распознать за упоминаемыми в хрониках «консулами» графов. К несчастью, встречаются случаи менее простые. Кто такой «колон» в наших грамотах XI и XII вв.? Вопрос лишен смысла. Слово, не давшее потомка в народном языке, потому что оно перестало отражать живое явление, было лишь переводческим приемом, применявшимся законниками для обозначения на красивой классической латыни весьма различных юридических и экономических состояний.

Противопоставление двух разных языков представляет, по сути, лишь крайний случай контрастов, присущих всем обществам. Даже в самых унифицированных нациях, вроде нашей, у каждого небольшого профессионального коллектива, у каждой группы со своей культурой или судьбой есть особая система выражения. При этом не все эти группы пишут, или не все пишут одинаково много, или же не у всех есть равные шансы передать свои писания потомству. Всякий знает: протокол допроса редко воспроизводит с точностью произнесенные слова – судейский секретарь почти безотчетно упорядочивает, проясняет, исправляет синтаксис, отбрасывает слова, по его мнению, слишком грубые. У цивилизаций прошлого также были свои секретари – хронисты и особенно юристы. Именно их голос дошел до нас в первую очередь. Не будем забывать, что слова, которыми они пользовались, классификации, которые они устанавливали этими словами, были результатом ученых занятий, нередко слишком подверженных влиянию традиции. Сколько неожиданностей ждало бы нас, если бы мы, вместо того чтобы корпеть над путаной (и, вероятно, искусственной) терминологией списков повинностей или капитуляриев каролингской эпохи, могли прогуляться по тогдашней деревне и послушать, как крестьяне сами определяют свое юридическое положение и как это делают их сеньоры. Разумеется, описание повседневного обихода тоже не дало бы нам картины всей жизни (ибо попытки ученых или правоведов выразить и, следовательно, истолковать также являются конкретно действующими силами), но мы, во всяком случае, добрались бы тогда до какого-то глубинного слоя. Сколь поучительно было бы подслушать подлинную молитву простых людей – обращена ли она к Богу вчерашнему или сегодняшнему! Конечно, если допустить, что они сумели выразить самостоятельно и без искажений порывы своего сердца.

Ибо тут мы встречаемся с последним великим препятствием. Нет ничего трудней для человека, чем выразить самого себя. Но не менее трудно и нам найти для зыбких социальных реальностей, составляющих основную ткань нашего существования, слова, свободные от двусмысленности и от мнимой точности. Самые употребительные термины – всегда приблизительны. Даже термины религии, которым, как охотно думают, будто бы свойственно точное значение. Изучая религиозную карту Франции, посмотрите, как много тонких нюансов вынужден в ней указать – вместо слишком простой этикетки «католическая» – ученый типа Ле Браса. Тут есть над чем поразмыслить историкам, которые с высоты своей веры (а порой и, возможно, еще чаще – своего неверия) судят сплеча, исходя из католицизма в духе Эразма. Для других, очень живых реальностей не нашлось нужных слов. В наши дни рабочий легко говорит о своем классовом сознании, даже если оно у него очень слабое. Я же полагаю, что это чувство разумной и боевой солидарности никогда не проявлялось с большей силой и четкостью, чем среди сельских батраков нашего Севера к концу старого режима – различные петиции, наказы депутатам в 1789 г. сохранили волнующие отзвуки. Однако само чувство не могло тогда себя назвать, у него еще не было имени.

Резюмируя, можно сказать, что терминология документов это, на свой лад, не что иное, как свидетельство. Без сомнения, наиболее ценное, но, как все свидетельства, несовершенное,

а значит, подлежащее критике. Любой важный термин, любой характерный оборот становятся подлинными элементами нашего познания лишь тогда, когда они сопоставлены с их окружением, снова помещены в обиход своей эпохи, среды или автора, а главное, ограждены – если они долго просуществовали – от всегда имеющейся опасности неправильного, анахронистического истолкования. Помазание короля наверняка трактовалось в XII в. как священнодействие – слово, несомненно, полное значения, но в те времена еще не имевшее гораздо более глубокого смысла, который придает ему ныне теология, застывшая в своих определениях и, следовательно, в лексике. Появление слова – это всегда значительный факт, даже если сам предмет уже существовал прежде; он отмечает, что наступил решающий период осознания. Какой великий шаг был сделан в тот день, когда приверженцы новой веры называли себя христианами! Кое-кто из историков старшего поколения, например Фюстель де Куланж, дал нам замечательные образцы такого изучения смысла слов, «исторической семантики». С тех пор прогресс лингвистики еще более отточил это орудие. Желая молодым исследователям применять его неустанно, а главное – пользоваться им даже для ближайших к нам эпох, которые в этом отношении наименее изучены.

При всей неполноте связи с реальностями имена все же прикреплены к ним слишком прочно, чтобы можно было попытаться описать какое-либо общество без широкого применения его слов, должным образом объясненных и истолкованных. Мы не станем подражать бесчисленным средневековым переводчикам. Мы будем говорить о графах там, где речь идет о графах, и о консулах там, где дело касается Рима. Большой прогресс в понимании эллинских религий произошел тогда, когда в языке эрудитов Юпитер был окончательно свергнут с трона Зевсом. Но это относится главным образом к отдельным сторонам учреждений, обиходных предметов и верований. Полагать, что терминологии документов вполне достаточно для установления нашей терминологии, означало бы допустить, что документы дают нам готовый анализ. В этом случае истории почти ничего не осталось бы делать. К счастью и к нашему удовольствию, это далеко не так. Вот почему мы вынуждены искать на стороне наши важнейшие критерии классификации.

Их предоставляет нам уже имеющаяся готовая лексика, обобщенность которой ставит ее выше терминов каждой отдельной эпохи. Выработанная без нарочито поставленной цели усилиями нескольких поколений историков, она сочетает в себе элементы, весьма различные по времени возникновения и по происхождению. «Феодал», «феодализм» – термины судебной практики, примененные в XVIII в. Буленвилье, а за ним Монтескье, – стали затем довольно неуклюжими этикетками для обозначения типа социальной структуры, также довольно нечетко очерченной. «Капитал» – слово ростовщиков и счетоводов, значение которого экономисты рано расширили. «Капиталист» – осколок жаргона спекулянтов на первых европейских биржах. Но слово «капитализм», занимающее ныне у наших классиков более значительное место, совсем молодо, его окончание свидетельствует об его происхождении (Kapitalismus). Слово «революция» сменило прежние, астрологические ассоциации на вполне человеческий смысл: в небе это было – и теперь является таковым – правильное и беспрестанно повторяющееся движение; на земле же оно отныне означает резкий кризис, целиком обращенный в будущее. «Пролетарий одет на античный лад, как и люди 1789 г., которые вслед за Руссо ввели это слово, но затем, после Бабефа, им навсегда завладел Маркс. Даже Америка и та дала «тотем», а Океания – «табу», заимствования этнографов, перед которыми, еще колеблясь, останавливается классический вкус иных историков.

Но различное происхождение и отклонения смысла – не помеха. Для слова гораздо менее существенна его этимология, чем характер употребления. Если слово «капитализм», даже в самом широком толковании, не может быть распространено на все экономические системы, где играл какую-то роль капитал заимодавцев; если слово «феодал» служит обычно для характеристики обществ, где феодал, безусловно, не являлся главной чертой, – в этом нет ничего проти-

воречащего общепринятой практике всех наук, вынужденных (как только они перестают удовлетворяться чисто алгебраическими символами) черпать в смешанном словаре повседневного обихода. Разве мы возмущаемся тем, что физик продолжает называть атомом, «неделимым», объект своих самых дерзновенных проникновений?

По-иному опасны эмоциональные излучения, которые несут с собой многие из этих слов. Влияние чувств редко способствует точности языка.

Привычка, укоренившаяся даже у историков, стремится смешать самым досадным образом два выражения: «феодалная система» и «сеньориальная система». Это целиком произвольное уподобление комплекса отношений, характерных для господства военной аристократии, типу зависимости крестьян, который полностью отличается по своей природе и, вдобавок, сложился намного раньше, продолжался дольше и был гораздо более распространен во всем мире.

Это недоразумение восходит к XVIII в. Вассальные отношения и феодалы продолжали тогда существовать, но в виде чисто юридических форм, почти лишенных содержания уже в течение нескольких столетий. Сеньория же, унаследованная от того же прошлого, оставалась вполне живым институтом. Политические писатели не сумели провести должные различия в этом наследии. И не только потому, что они его плохо понимали. По большей части они его не рассматривали хладнокровно. Они ненавидели в нем архаические пережитки и еще больше то, что оно упорно поддерживало силы угнетения. Осуждалось все целиком. Затем Революция упразднила вместе с учреждениями собственно феодалными и сеньорию. От нее осталось лишь воспоминание, но весьма устойчивое и в свете недавних боев окрашивавшееся яркими красками. Отныне смешение стало прочным. Порожденное страстью, оно, под действием новых страстей, стремилось распространиться вширь. Даже сегодня, когда мы – к месту и не к месту – рассуждаем о «феодалных нравах» промышленников или банкиров, говорится ли это вполне спокойно? Подобные речи озарены отсветами горящих замков в жаркое лето 1789 г.

К сожалению, такова судьба многих наших слов. Они продолжают жить рядом с нами бурной жизнью площади. Слыша слово «революция», ультра 1815 г. в страхе прятали лицо. Ультра 1940 г. камуфлируют им свой государственный переворот.

Но предположим, что в нашем словаре окончательно утвердилось бесстрашие. Увы, даже в самых интеллектуальных языках есть свои западни. Мы, разумеется, отнюдь не намерены здесь вновь приводить «номиналистические остроты», о которых Франсуа Симиан недавно со справедливым удивлением сказал, что они в науках о человеке обладают «странной привилегией». Кто откажет нам в праве пользоваться удобствами языка, необходимыми для всякого рационального познания? Мы, например, говорим о «машинизме», но это вовсе не означает, что мы создаем некую сущность. Мы просто с помощью выразительного слова объединяем в одну группу факты в высшей степени конкретные, подобие которых, собственно, и обозначаемое этим словом, также является реальностью. Сами по себе такие рубрики вполне оправданны. Опасность создается их удобством. Если символ неудачно выбран или применяется слишком механически, то он, созданный лишь в помощь анализу, в конце концов отбивает охоту анализировать. Тем самым он способствует возникновению анахронизма, а это с точки зрения науки о времени самый непростительный из всех грехов.

В средневековых обществах различались два сословия: были люди свободные и люди, которые считались вовсе лишенными свободы. Но свобода относится к тем понятиям, которые в каждую эпоху трактуются по-иному. И вот историки наших дней решили, что в нормальном, по их мнению, смысле слова, т. е. в придаваемом ими смысле, несвободные люди Средневековья были неправильно названы. Это были, говорят нам историки, люди «полусвободные». Слово, придуманное без какой-либо опоры в текстах, слово-самозванец было бы помехой при любом состоянии дела. Но на беду оно не только помеха. Почти неизбежно мнимая точ-

ность, внесенная им в язык, сделала вроде бы излишним подлинно углубленное исследование рубежа между свободой и рабством, как он представлялся различным цивилизациям, — границы часто зыбкой, изменчивой, даже с точки зрения пристрастий данного времени или группы, но никогда не допускавшей существования именно этой пограничной зоны, о которой нам с неуместной настойчивостью твердит слово «полусвобода». Терминология, навязанная прошлому, непременно приводит к его искажению, если ее целью — или попросту результатом — является сведение категорий прошлого к нашим, поднятым для такого случая в ранг вечных. По отношению к этикеткам такого рода есть лишь одна разумная позиция — их надо устранять.

«Капитализм» был полезным словом. И, несомненно, снова станет полезным, когда нам удастся очистить его от всех двусмысленностей, которыми это слово, входя в повседневный язык, обрастало все больше и больше. Теперь, безоглядно применяемое к самым различным цивилизациям, оно в конце концов почти неотвратимо приводит к маскировке их своеобразия. Экономическая система XVI в. была «капиталистической»? Пожалуй. Вспомните, однако, о повсеместной жажде денег, пронизавшей тогда общество сверху донизу, столь же захватившей купца или сельского нотариуса, как и крупного аугсбургского или лионского банкира; погляньте, насколько большее значение придавалось тогда ссуде или коммерческой спекуляции, чем организации производства. По своему человеческому содержанию как отличался этот «капитализм» Ренессанса от куда более иерархизированной системы, от системы мануфактурной, от сен-симонистской системы эры промышленной революции! А та система, в свою очередь...

Пожалуй, одно простое замечание может уберечь нас от ошибок. К какой дате следует отнести появление капитализма — не капитализма определенной эпохи, а капитализма как такового, Капитализма с большой буквы? Италия XII в.? Фландрия XIII в.? Времена Фугтеров и антверпенской биржи? XVIII или даже XIX в.? Сколько историков — столько записей о рождении. Почти так же много, по правде сказать, как дат рождения пресловутой Буржуазии, чье пришествие к власти отмечается школьными учебниками в каждый из периодов, предлагаемых поочередно для зубрежки нашим малышам, — то при Филиппе Красивом, то при Людовике XIV, если не в 1789 или в 1830 г. Но, может быть, это все же не была точно та же буржуазия? Как точно тот же капитализм?..

И тут, я думаю, мы подходим к сути дела. Вспомним красивую фразу Фонтенеля: Лейбниц, говорил он, *«дает точные определения, которые лишают его приятной свободы при случае играть словами»*. Приятной ли — не знаю, но безусловно опасной. Подобная свобода нам слишком свойственна. Историк редко определяет. Он мог бы, пожалуй, считать это излишним трудом, если бы черпал из запаса терминов, обладающих точным смыслом. Но так не бывает, и историку приходится даже при употреблении своих «ключевых слов» руководствоваться только инстинктом. Он самовластно расширяет, сужает, искажает значения, не предупреждая читателя и не всегда сознавая это. Сколько «феодализмов» расплодилось в мире — от Китая до Греции ахейцев в красивых доспехах! По большей части они ничуть не похожи. Просто каждый или почти каждый историк понимает это слово на свой лад.

А если мы случайно даем определения? Чаше всего тут каждый действует на свой страх и риск. Весьма любопытен пример столь тонкого исследователя экономики, как Джон Мейнард Кейнс. Почти в каждой своей книге он, оперируя терминами, лишь изредка имеющими точно установленный смысл, предписывает им совершенно новые значения, иногда еще меняя их от одной работы к другой, и притом значения, сознательно отдаленные от общеупотребительных. Странные шалости наук о человеке, которые, долго числясь по разряду «изящной словесности», будто сохранили кое-что от безнаказанного индивидуализма, присущего искусству! Можно ли себе представить, чтобы химик сказал: «Для образования молекулы воды нужны два вещества: одно дает два атома, другое — один; первое в моем словаре будет называться кислородом, а второе водородом»? Если поставить рядом языки разных историков, даже пользующихся самыми точными определениями, из них не получится язык истории.

Надо признать, что кое-где попытки достигнуть большей согласованности делались группами специалистов, которых относительная молодость их дисциплин как бы ограждает от вреднейшей цеховой рутины (это лингвисты, этнографы, географы); а для истории в целом – Центром Синтеза, всегда готовым оказать услугу или подать пример. От них можно многого ожидать. Но, наверное, меньше, чем от прогресса в доброй воле всех вообще. Без сомнения, настанет день, когда мы, договорившись по ряду пунктов, сможем уточнить терминологию, а затем по этапам будем ее оттачивать. Но и тогда личная манера исследователя по традиции сохранит в изложении его интонации – если только оно не превратится в анналы, которые шествуют, спотыкаясь от даты к дате.

Владычество народов-завоевателей, сменявших друг друга, намечало контуры великих эпох. Коллективная память Средних веков почти целиком была под властью библейского мифа о четырех империях: Ассирийской, Персидской, Греческой, Римской. Однако это была не слишком удобная схема. Мало того, что она вынуждала, приноравливаясь к священному тексту, продлевать до настоящего времени мираж мнимого римского единства. По парадоксу, странному в христианском обществе (а также и ныне, на взгляд любого историка), страсти Христовы представлялись в движении человечества менее значительным этапом, чем победы знаменитых опустошителей провинций. Что ж до более мелких периодов, их границы определялись для каждой нации чередованием монархов.

Эти привычки оказались поразительно устойчивыми. «История Франции», верное зеркало французской школы времен около 1900 г., еще движется, ковыляя от одного царствования к другому: на смерти каждого очередного государя, описанной с подробностями, подobaющими великому событию, делается остановка. А если нет королей? К счастью, системы правления тоже смертны: тут веками служат революции. Ближе к нам выдвигаются периоды «преобладания» той или иной нации – подслащенные эквиваленты прежних империй, на которые целый ряд учебников охотно делят курс новой истории. Гегемония испанская, французская или английская – надо ли об этом говорить? – имеет по природе своей дипломатический или военный характер. Остальное прилаживают, как придется.

Но ведь уже давно, в XVIII в., раздавался протестующий голос. «Можно подумать, – писал Вольтер, – что в течение четырнадцати столетий в Галлии были только короли, министры да генералы». Постепенно все же вырабатывались новые принципы деления; освобождаясь от империалистического или монархического наваждения, историки стремились исходить из более глубоких явлений. В это время, мы видели, возникает слово «феодализм» как наименование периода, а также социальной и политической системы. Но особенно поучительна судьба термина «Средние века».

По своим дальним истокам сами эти слова – средневековые. Они принадлежали к терминологии полуеретического профетизма, который, в особенности с XIII в., прельщал немало мятежных душ. Воплощение Бога положило конец Ветхому Завету, но не установило Царства Божия. Устремленное к надежде на этот блаженный день, время настоящее было, следовательно, всего лишь промежуточной эрой, *medium aevum*. Затем, видимо уже у первых гуманистов, которым этот мистический язык был привычен, образ сместился в более земной план. В некотором смысле, считали они, царство Духа уже наступило. Имелось в виду «возрождение» литературы и мысли, сознание чего было столь острым у лучших людей того времени: свидетели тому Рабле и Ронсар. «Средний век» завершился, он и тут представлял собой некое длительное ожидание в промежутке между плодотворной античностью и ее новейшим открытием. Понятое в таком смысле, это выражение в течение нескольких поколений существовало где-то в тени, вероятно, лишь в небольших кружках ученых. Как полагают, только к концу XVII в. немец Христофор Келлер, скромный составитель учебников, вздумал в труде по всеобщей истории назвать Средними веками целый период, охватывающий более тысячи лет от наших варваров до Ренессанса. Такой смысл, распространившийся неведомо какими путями,

получил окончательные права гражданства в европейской, и именно во французской, историографии времен Гизо и Мишле. Вольтеру этот смысл был неизвестен. «Вы хотите наконец преодолеть отвращение, внушаемое вам Новой историей начиная с упадка Римской империи», – так начинается «Опыт о нравах». Но, без сомнения, именно дух «Опыта», так сильно повлиявший на последующие поколения, упрочил успех выражения «Средние века». Как, впрочем, и его почти неразлучного спутника – слова «Ренессанс». Давно уже употреблявшееся как термин истории вкуса, но в качестве имени нарицательного и с непременным дополнением («ренессанс наук и искусств при Льве X или при Франциске I», как говорили тогда), это слово лишь во времена Мишле завоевало вместе с большой буквой право обозначать самостоятельно целый период. За обоими терминами стояла одна и та же идея. Прежде рамками истории служили битвы, политика дворов, восшествие или падение великих династий. Под их знаменами выстраивались, как придется, искусство, литература, науки. Отныне следует все перевернуть. Эпохам истории человечества придают их особую окраску самые утонченные проявления человеческого духа, благодаря изменчивому ходу своего развития. Вряд ли найдется другая идея, несущая на себе столь явственный отпечаток вольтеровых когтей.

Этот принцип классификации, однако, имел один большой недостаток: определение отличительной черты было в то же время приговором. «Европа, зажата между тиранией духовенства и военным деспотизмом, ждет в крови и в слезах того часа, когда воссияет новый свет, который возродит ее для свободы человечности и добродетелей». Так Кондорсе описывал эпоху, которой вскоре, по единодушному согласию, было дано название «Средние века». С того времени как мы перестали верить в эту «ночь» и отказались изображать сплошь бесплодной пустыней те века, которые были так богаты в области технических изобретений, в искусстве, в чувствах, в религиозных размышлениях, века, которые видели первый взлет европейской экономической экспансии, которые, наконец, дали нам родину, – какое может быть основание смешивать в обманчиво-единой рубрике Галлию Хлодвига и Францию Филиппа Красивого, Алкуина и святого Фому или Оккама, звериный стиль «варварских» украшений и статуи Шартра, маленькие скученные города каролингских времен и блистательное бюргерство Генуи, Брюгге или Любека? «Средние века» теперь по сути влачат жалкое существование лишь в педагогике – как сомнительно удобный термин для программ, но главное, как этикетка технических приемов науки, область которой довольно нечетко ограничена традиционными датами. Медиевист – это человек, умеющий читать старинные рукописи, подвергать критике хартию, понимать старофранцузский язык. Без сомнения, это уже нечто. Но, разумеется, этого недостаточно для науки о действительности, науки, стремящейся к установлению точных разделов.

* * *

Среди неразберихи наших хронологических классификаций незаметно возникло и распространилось некое поветрие, довольно недавнее, как мне кажется, и во всяком случае тем более паразитическое, чем меньше в нем смысла. Мы слишком охотно ведем счет по векам.

Слово «век», давно отдалившееся от точного счисления лет, имело изначально также мистическую окраску – отзвуки «Четвертой эклоги» или *Dies irae*. Возможно, они еще не вполне заглохли в то время, когда, не слишком заботясь о числовой точности, история с запозданием рассуждала о «веке Перикла», о «веке Людовика XIV». Но наш язык стал более строго математическим. Мы уже не называем века по именам их героев. Мы их аккуратно нумеруем по порядку, сто лет и еще сто лет начиная от исходной точки, раз навсегда установленной в первом году нашей эры. Искусство XII в., философия XVIII в., «тупой XIX в.» – эти персонажи в арифметической маске разгуливают на страницах наших книг. Кто из нас похвалится, что всегда мог устоять перед соблазном их мнимого удобства?

К сожалению, в истории нет такого закона, по которому годы, у которых число заканчивается цифрами 01, должны совпадать с критическими точками эволюции человечества. Отсюда возникают странные сдвиги. «Хорошо известно, что XVIII век начинается в 1715 г. и заканчивается в 1789-м». Эту фразу я прочел недавно в одной студенческой тетради. Наивность? Ирония? Не знаю. Во всяком случае, это удачное обнажение некоторых вошедших в привычку нелепостей. Но если речь идет о философическом XVIII в., наверное, можно было бы даже сказать, что он начинается гораздо раньше 1701 г.: «История оракулов» появилась в 1687-м, а «Словарь» Бейля в 1697 г. Хуже всего то, что, поскольку слово, как всегда, тянет за собой мысль, эти фальшивые этикетки в конце концов обманывают нас и насчет товара. Медиевисты говорят о «Ренессансе XII века». Конечно, то было великое интеллектуальное движение. Но, вписывая его в эту рубрику, мы слишком легко забываем, что в действительности оно началось около 1060 г., и некоторые существенные связи от нас ускользают. Короче, мы делаем вид, будто можем, согласно строгому, но произвольно избранному равномерному ритму, распределять реальности, которым подобная размеренность совершенно чужда. Это чистая условность, и обосновать ее мы не в состоянии. Надо искать что-то более удачное.

Пока мы ограничиваемся изучением во времени цепи родственных явлений, проблема в общем несложна. Именно в этих явлениях и следует искать границы их периодов. Например, история религии в царствование Филиппа-Августа, история экономики в царствование Людовика XIV. А почему бы Луи Пастеру не написать: «Дневник того, что происходило в моей лаборатории при втором президентстве Гревия»? Или, наоборот: «История дипломатии в Европе от Ньютона до Эйнштейна»?

Легко понять, чем соблазняло деление по империям, королям или политическим режимам. За ним стоял не только престиж, придаваемый давней традицией проявлениям власти, этим, по словам Макиавелли, «действиям, имеющим облик величия, присущего актам правительства или государства». У какого-то события, у революции есть на шкале времени место, установленное с точностью до одного года, даже до одного дня. А эрудит любит, как говорится, «тонко датировать». В этом он находит и избавление от инстинктивного страха перед неопределенным, и большое удобство для совести. Он хотел бы прочесть все, перерыть все, относящееся к его предмету. Насколько приятней для него, если, берясь за архивные папки, он может с календарем в руках распределять их «до», «во время», «после».

Но не будем поклоняться идолу мнимой точности. Самый точный отрезок времени – не обязательно тот, к которому мы прилагаем наименьшую единицу измерения (тогда следовало бы предпочесть не только год десятилетию, но и секунду – дню), а тот, который более соответствует природе предмета. Ведь каждому типу явлений присуща своя, особая мера плотности измерения, своя, специфическая, так сказать, система счисления. Преобразования социальной структуры, экономики, верований, образа мышления нельзя без искажений втиснуть в слишком узкие хронологические рамки. Если я пишу, что чрезвычайно глубокое изменение в западной экономике, отмеченное первыми крупными партиями импорта заморского зерна и первым крупным подъемом влияния немецкой и американской промышленности, произошло между 1875 и 1885 гг., такое приближение – единственно допустимое для фактов этого рода. Дата, претендующая на большую точность, не соответствовала бы истине. Так же и в статистике средний показатель за десятилетие сам по себе является не более грубым, чем средний годовой или недельный. Просто он выражает другой аспект действительности.

Впрочем, можно априори предположить, что на практике естественные фазы явлений, с виду весьма различных, иногда перекрывают одна другую. Точно ли период Второй империи был также новым периодом во французской экономике? Прав ли был Зомбарт, отождествляя расцвет капитализма с расцветом протестантского духа? Верно ли утверждение Тьерри-Монье, что демократия является «политическим выражением» того же капитализма (боюсь, что на самом деле не совсем того же)? Тут мы не вправе попросту отвергать, сколь бы сомнительными

ни казались нам эти совпадения. Но выдвигать их можно – там, где это уместно, – лишь при одном условии: если они не постулируются заранее. Приливы, без сомнения, связаны с фазами Луны. Однако, чтобы это узнать, надо было сперва определить отдельно периоды приливов и периоды изменения Луны.

Если же мы, напротив, изучаем социальную эволюцию в целом, надо ли характеризовать ее последовательные этапы? Это проблема первостепенного значения. Здесь можно лишь наметить пути, по которым, как нам кажется, должна идти классификация. Не будем забывать, что история – наука, еще находящаяся в процессе становления.

Люди, родившиеся в одной социальной среде и примерно в одни годы, неизбежно подвергаются, особенно в период своего формирования, аналогичным влияниям. Опыт показывает, что их поведению, сравнительно с намного более старшими или младшими возрастными группами, обычно свойственны очень четкие характерные черты. Это верно даже при разногласиях внутри, которые могут быть весьма острыми. Страстное участие в споре об одном и том же предмете, пусть с противоположных позиций, также говорит о сходстве. Этот общий отпечаток, порожденный возрастной общностью, образует поколение.

Общество, если уж говорить точно, редко бывает единым. Оно разделяется на различные слои. Каждый из них не всегда соответствует поколению: разве силы, воздействующие на молодого рабочего, обязательно – или, по крайней мере, с той же интенсивностью – воздействуют на молодого крестьянина? Вдобавок даже в обществах с очень развитыми связями некоторые течения распространяются медленно. «Когда я был подростком, в провинции еще были романтики, а Париж уже от этого отошел», – рассказывал мне мой отец, родившийся в Страсбурге в 1848 г. Впрочем, часто противоположность, как в данном случае, сводится к разному во времени. Поэтому, когда мы, например, говорим о том или ином поколении французов, мы прибегаем к образу сложному и порой разноречивому, однако, мы, понятно, имеем в виду его определяющие элементы.

Что до периодичности поколений, в ней, разумеется, вопреки пифагорейским иллюзиям иных авторов, нет никакой правильности. Границы поколений то сужаются, то раздвигаются, в зависимости от более или менее быстрого темпа социального движения. Были в истории поколения долгие и краткие. Лишь прямым наблюдением удастся уловить точки, в которых кривая меняет свое направление. Я учился в школе, дата поступления в которую позволяет мне наметить вехи. Уже очень рано я почувствовал себя во многих отношениях ближе к выпускам, предшествовавшим моему, чем к тем, что почти сразу следовали за моим. Мои товарищи и я, мы находились в последних рядах тех, кого, я думаю, можно назвать «поколением дела Дрейфуса». Дальнейший жизненный опыт не опроверг этого ощущения.

Поколениям, наконец, неизбежно свойственно взаимопроникновение. Ибо разные индивидуумы не одинаково реагируют на одни и те же влияния. Среди наших детей теперь уже легко в общем отличить по возрасту поколение военное от того, которое будет послевоенным. Но при одной оговорке: в возрасте, когда дети еще не вполне подростки, но уже вышли из раннего детства, чувствительность к событиям настоящего очень различна в зависимости от различий в темпераменте; наиболее рано развившиеся будут действительно «военными», другие окажутся на противоположном берегу.

Итак, понятие «поколение» очень гибко, как всякое понятие, которое стремится выразить без искажений явления человеческой жизни. Но вместе с тем оно соответствует реальностям, ощущаемым нами как вполне конкретные. Издавна его как бы инстинктивно применяли в дисциплинах, природа которых заставляла отказываться – раньше, чем в других дисциплинах – от старых делений по царствованиям или по правительствам: например в истории мысли или художественного творчества. Это понятие все больше и больше, как нам кажется, доставляет глубокому анализу человеческих судеб первые необходимые вехи.

Однако поколение – относительно короткая фаза. Фазы более длительные называются цивилизациями.

Благодаря Люсьену Февру мы теперь хорошо знаем историю этого слова, неотделимую, разумеется, от истории связанного с ним понятия. Оно лишь постепенно освобождалось от оценочного суждения. Точнее, тут произошло разъединение. Мы еще говорим (увы, с гораздо меньшей уверенностью, чем наши предшественники!) о цивилизации как некоем идеале и о трудном восхождении человечества к ее благородным радостям; но также говорим о «цивилизациях» во множественном числе, являющихся конкретными реальностями. Теперь мы допускаем, что бывают, так сказать, нецивилизированные цивилизации. Ибо мы признали, что в любом обществе все взаимосвязано и взаимозависимо: политическая и социальная структура, экономика, верования, самые элементарные, как и самые утонченные, проявления духа. Как же назвать этот комплекс, в лоне которого, как писал уже Гизо, «соединяются все элементы жизни народа, все силы его существования»? По мере того как науки о человеке становились все более релятивистскими, слово «цивилизация», созданное в XVIII в. для обозначения некоего абсолютного блага, приспособилось, – конечно, не теряя старого своего значения, – к этому новому, конкретному, смыслу. От того, что прежде было его единственным значением, оно лишь сохраняет отзвук любви к человеку, чем не следует пренебрегать.

Различия между цивилизациями проступают особенно явственно, когда благодаря отдаленности в пространстве контраст подчеркивается экзотичностью: кто станет спорить, что существует китайская цивилизация или что она сильно отличается от европейской? Но и в одних и тех же краях преобладающая черта социального комплекса также может изменяться, иногда постепенно, иногда резко. Когда преобразование завершилось, мы говорим, что одна цивилизация сменила другую. Порой тут действует и внешний толчок, обычно сопровождаемый включением новых человеческих элементов: так было в эпоху между Римской империей и обществами раннего Средневековья. Порой же происходит только внутреннее изменение: например, о цивилизации Ренессанса, от которой мы так много унаследовали, каждый, однако, скажет, что это уже не наша цивилизация. Несомненно, эти различия тональности трудно определить. Разве что употребив слишком общие ярлыки. Удобство всяких «измов» (*Tyriumus*, *Konventionalismus*) взяло верх над попыткой описания – и весьма тонкого – эволюции, которое дал недавно Карл Лампрехт в своей «Истории Германии». Это было ошибкой уже у Тэна, у которого нас ныне так удивляет сочетание конкретно-личного с «господствующей концепцией». Но если какие-то попытки потерпели неудачу, это не оправдание для отказа от новых усилий. Задача исследования – придавать устанавливаемым различиям все большую точность и тонкость.

Итак, человеческое время всегда будет сопротивляться строгому единообразию и жесткому делению на отрезки, которые свойственны часам. Для него нужны единицы измерения, согласующиеся с его собственным ритмом и определяемые такими границами, которые часто – ибо того требует действительность – представляют собой пограничные зоны. Лишь обретя подобную гибкость, история может надеяться приспособить свои классификации к «контурам самой действительности», как выразился Бергсон, а это, собственно, и есть конечная цель всякой науки.

Глава пятая

Позитивизм тщетно пытался устранить из науки идею причинности. Всякий физик, всякий биолог волей-неволей мыслит с помощью «почему» и «потому что». Историкам вряд ли удастся уйти из-под власти этого всеобщего закона мышления. Одни, как Мишле, скорее связывают великое «жизненное движение» в одну цепь, нежели объясняют его в логической форме; другие выставляют напоказ свой арсенал индукций и гипотез – генетическая связь присутствует у всех. Но из того, что раскрытие отношений причины и следствия составляет, по-видимому, инстинктивную потребность нашего разума, вовсе не следует, что в поисках причинных связей нужно полагаться на инстинкт. Хотя метафизика причинности находится здесь за пределами нашего кругозора, применение каузальной связи как орудия исторического познания, бесспорно, требует критического осознания.

Вообразим, что по горной тропинке идет человек. Вдруг он спотыкается и падает в пропасть. Чтобы этот случай произошел, потребовалось соединение многих детерминирующих элементов. В их числе: сила тяжести, горный рельеф, сам по себе являющийся следствием долгих геологических преобразований; тропинка, которая была проложена, например, с целью связать деревню с летними пастбищами. Итак, можно с полным основанием сказать, что если бы законы небесной механики были иными, если бы эволюция земного шара протекала иначе, если бы хозяйство альпийских деревень не основывалось на сезонном выгоне скота в горы, то человек не упал бы в пропасть. Но попробуйте все же спросить, что было причиной падения, и всякий ответит: неосторожный шаг. И не в том дело, что именно этот антецедент был самым необходимым для данного события. Множество других были в равной степени необходимыми. Но среди всех прочих он выделяется несколькими очень четкими чертами: он был последним, наименее постоянным, наиболее исключительным в общем ходе вещей; наконец, в силу именно этой его наименьшей всеобщности его вмешательства как будто легче всего было избежать. По этим соображениям он представляется нам находящимся в более прямой связи со следствием, и у нас невольно возникает чувство, что именно он и вызвал падение. С точки зрения здравого смысла, который, рассуждая о причине, всегда с трудом освобождается от известного антропоморфизма, этот компонент, включившийся в последнее мгновение, этот особый и неожиданный компонент играет роль скульптора, придающего форму уже вполне готовому пластическому материалу.

Историческое рассуждение в своей повседневной практике идет по тому же пути. Наиболее постоянные и общие антецеденты, сколь бы ни были они необходимыми, попросту подразумеваются. Кому из военных историков придет в голову включить в число причин победы силу притяжения, от которой зависят траектории снарядов, или физиологические особенности человеческого тела, не будь которых, снаряды не могли бы наносить смертельные раны? Антецеденты более частные, но все же наделенные известным постоянством, образуют то, что принято называть «условиями». Самый же специфический антецедент, тот, который в пучке причинных сил представляет как бы дифференциальный элемент, он-то преимущественно и получает наименование «причины». Можно, например, сказать, что инфляция во времена Лоу была причиной повсеместного повышения цен. Наличие во Франции определенной экономической среды, уже гомогенной и с развитыми связями, будет только условием. Ибо широкие возможности обращения, которые, способствуя распространению бумажных денег, благоприятствовали повышению цен, предшествовали инфляции и продолжали существовать и после нее.

* * *

Несомненно, в этом различии заключается плодотворный для научных изысканий принцип. К чему усложнять картину antecedentami, имеющими почти универсальный характер? Они – общие для слишком большого числа явлений, чтобы специально упоминать их в генеалогии каждого. Я знаю заранее, что если б воздух не содержал кислорода, то пожара бы не было; определить, из-за чего начался данный пожар, – вот что меня интересует, вот что вызывает и оправдывает мои усилия открыть истину. Законы, управляющие траекторией снарядов, действуют при поражении, равно как при победе; они объясняют обе эти возможности, а значит, бесполезны для объяснения каждой из них в частности.

Однако тут нельзя безоговорочно возводить в абсолют иерархическую классификацию, которая по сути является всего лишь удобным приемом. Действительность дает нам почти бесконечное множество силовых линий, которые все сходятся в одном явлении. Выбор, производимый нами среди них, может быть основан на признаках, практически вполне достойных внимания. И все равно это только выбор. В идее, что некая причина по преимуществу противостоит простым «условиям», есть значительная доля произвольного. Сам Симиан, охваченный стремлением к точности и вначале пытавшийся (как я полагаю, тщетно) дать более строгие определения, под конец, видимо, признал вполне относительный характер подобного различия. «В эпидемии, – писал он, – для врача причиной будет распространение микроба, а условием – нечистоплотность, болезненность, порожденные пауперизмом; для социолога и филантропа пауперизм будет причиной, а биологические факторы – условием». Он честно допускает, что перспектива может меняться в зависимости от угла зрения.

Впрочем, будем и здесь осторожны: суеверное преклонение перед единственной причиной – это в истории чересчур часто лишь скрытая форма поисков виновного, а значит, суждения оценочного. «Чья вина или чья заслуга?» – говорит судья. Ученый же довольствуется вопросом «почему» и готов к тому, что ответ не будет простым. Монизм в установлении причины – вызван ли он предрассудком здравого смысла, постулатом логика или навыком судебного чиновника – будет для исторического объяснения только помехой. Историк ищет цепи каузальных волн и не пугается, если они оказываются (ибо так происходит в жизни) множественными.

Исторические факты – это факты психологические по преимуществу. Стало быть, их antecedentami, как правило, являются другие психологические факты. Конечно, судьбы людей включены в мир физический и несут его бремя. Но даже там, где вмешательство этих внешних сил кажется наиболее грубым, их действие осуществляется только как направленное человеком и его разумом. Вирус «Черной смерти» был первопричиной уменьшения населения в Европе, но эпидемия распространилась так быстро лишь благодаря определенным социальным – а значит, по их глубинному характеру, психологическим – условиям, и ее моральные следствия могут быть объяснены только особым предрасположением коллективного образа чувств.

Но у историков психология занимается лишь ясным сознанием. Читая иные книги по истории, можно подумать, что человечество сплошь состояло из логически действующих людей, для которых в причинах их поступков не было ни малейшей тайны. При нынешнем уровне исследований психической жизни и ее темных глубин – это еще одно доказательство того, как всегда трудно отдельным наукам идти в ногу со всеми остальными науками. Это также повторение, в большем масштабе, ошибки – впрочем, уже не раз отмеченной – старой экономической теории. Ее homo oeconomicus был призраком не только потому, что его изображали поглощенным исключительно своей выгодой; еще вреднее была иллюзия, будто он настолько уж ясно представлял себе эту выгоду. «Нет ничего более редкого, чем план», – говорил еще Наполеон. Можно ли считать, что тяжкая моральная атмосфера, в которой мы теперь живем,

формирует в нас только человека разумных решений? Мы сильно исказили бы проблему причин в истории, если бы всегда и везде сводили ее к проблеме осознанных мотивов.

Как любопытна, кстати, антиномия, наблюдаемая в меняющихся установках стольких историков! Когда надо удостовериться, имел ли место в действительности тот или иной поступок, их тщательность выше всяких похвал. Когда же они переходят к причинам поступка, их удовлетворяет любая видимость правдоподобия – обычно со ссылкой на какую-нибудь из истин банальной психологии, которые верны ровно настолько, насколько и противоположные им.

Два философски образованных критика – Георг Зиммель в Германии и Франсуа Симиан во Франции – развлекались, избличая такие предвосхищения основания. Один немецкий историк пишет, что эбэртисты вначале прекрасно ладили с Робеспьером, так как он во всем следовал их желаниям, затем они от него отошли, потому что, мол, сочли его слишком могущественным. Тут, замечает Зиммель, подразумеваются два следующих высказывания: благодеяние побуждает к благодарности; мы не любим, чтобы нами повелевали. Оба высказывания, несомненно, нельзя назвать ложными. Но их нельзя назвать и истинными. Разве мы не можем с одинаковым успехом утверждать, что слишком полное подчинение воле какой-нибудь партии вызывает у нее скорее презрение к такой слабости, чем благодарность, и разве, напротив, мы не видели диктаторов, которые благодаря страху, внушаемому их могуществом, подавляли малейшую попытку сопротивления? Один схоласт говорил о власти, что у нее «нос из воска – он одинаково легко гнется налево и направо». Это относится и к пресловутым психологическим истинам здравого смысла.

Ошибка здесь, по сути, та же, что лежала в основе географического псевдодетерминизма, ныне окончательно развенчанного. Имеем ли мы дело с явлением мира физического или с социальным фактом, в человеческих реакциях нет ничего общего с движением часового механизма, всегда заведенного в одну сторону. Пустыня, что бы ни говорил Ренан, отнюдь не обязательно «монотеистична», ибо народы, ее населяющие и глядящие на ее пейзажи, наделяют их различной душой. Малочисленность водных источников приводила бы в любом месте к плотности сельских поселений, а обилие источников – к распыленности лишь в том случае, когда для крестьян близость ручьев, колодцев или озер была действительно наиважнейшим обстоятельством. Конечно, случается, что они – из соображений безопасности или взаимопомощи и даже из простого стадного чувства – предпочитают селиться вместе в любом уголке земли, где есть свой источник воды; но бывает и наоборот (как в некоторых районах Сардинии): каждый строит себе жилище в центре небольшого владения и готов ради этой любезной его сердцу уединенности проделывать далекий путь к редким в тех местах источникам. Разве человек по природе своей не является прежде всего великой переменной величиной?

Не будем, однако, судить слишком поспешно. Ошибка в подобных случаях кроется не в объяснении как таковом. Она целиком обусловлена его априорностью. Хотя пока еще примеров тому не так уж много, вполне возможно, что при определенных социальных условиях расположение водных источников является – больше, чем другие причины – решающим для характера поселений. Бесспорно лишь то, что эта причина не всегда решающая. Отнюдь не невероятно, что эбэртисты и впрямь руководствовались теми мотивами, которые им приписал историк. Не прав он был только в том, что рассматривал эту гипотезу как нечто установленное. Надо было ее доказать. Затем, когда доказательство было бы представлено, – мы не вправе заранее считать это неосуществимым, – оставалось еще, углубляя анализ, спросить себя, почему из всех возможных психологических установок в данной группе возобладали именно эти. Ибо, если мы полагаем, что интеллектуальная или эмоциональная реакция никогда не является сама собой разумеющейся, то всякий раз, когда она осуществляется, необходимо раскрыть ее причины. Одним словом, причины в истории, как и в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать...

От редакции

Свою книгу «Апология истории» Марк Блок закончить не успел.

В ней было намечено семь глав, но написал он только пять из них. Неосуществленными остались главы:

«VI. Объяснение в истории.

В качестве введения: «Поколение скептиков» (и сциентистов).

1. Понятие причины. Развенчание причины и мотива (бессознательное). Романтизм и спонтанность.

2. Понятие случая.

3. Проблема индивидуума и его дифференцирующего значения. Дополнительно – эпохи, в документации которых нет индивидуумов. Является ли история только наукой о людях в обществе? История массы и элиты.

4. Проблема «детерминирующих» действий или фактов.

VII. Проблема предвидения:

1. Предвидение – потребность ума.

2. Обычные ошибки предвидения: экономическая конъюнктура, военная история.

3. Антиномия предвидения в области человеческого: предвидение, уничтожаемое предвидением; роль осознания.

4. Предвидение на короткий срок.

5. Закономерности.

6. Надежды и сомнения».

В 1944 г. участник французского Сопротивления профессор Марк Блок был арестован гестапо и расстрелян.

Текст готовил к печати его друг и соратник Люсьен Февр, располагавший черновиками рукописи «Апологии истории». И мы согласны со словами первоиздателя, что можно лишь «глубоко сожалеть об отсутствии более конкретных и подробных записей Блока, относящихся к последним частям его книги. Они, наверное, принадлежали бы к числу самых оригинальных».